

A black and white portrait of a middle-aged man with dark hair, wearing a dark suit jacket, a white shirt, and a patterned tie. He has a serious expression and is looking directly at the camera. The background is a plain, light color. In the top right corner, there is a circular icon containing the text '12+'.

12+

Владимир Демидчик
Незаросшая...

Владимир Демидчик Лариса Демидчик Незаросшая...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=45102549

SelfPub; 2019

Аннотация

Демидчик Владимир Павлович родился в 1930 в г. Борисов. Окончил арабское отделение восточного факультета Ленинградского гос. университета в 1953 г. Перед началом Великой Отечественной войны семья переехала в город Несвиж. Был свидетелем гонений евреев в Несвижском гетто и их расстрела в 1941 году, чему посвятил свой первый рассказ «Незаросшая». Партизанское движение в Белоруссии, с которым была связана его мать и он сам, отражено в нескольких рассказах. Похоронен в Душанбе в 1987, где жил и работал как основатель таджикской школы арабистики.

Владимир Демидчик.



Незаросшая...

Подготовка публикации, составление Ларисы Демидчик

Оглавление

Проза

Рассказы

Тётка

Красные яблоки

В роще на одиннадцатом километре

Искупительная жертва

Незаросшая

Корова

Предчувствие

Дело №....

Встреча

Изгой

Багдад

Могила Санаи

Бесноватая

Лоцман с острова Арвад

Гонимый (повесть о слепом поэте)

Стихи

Восток

В душной таверне Тарсуса...

Кондара

Над Бейрутом опять чёрный дым...

Устал, как старый мерседес...

Сирия – сердце моё...

В долину мёртвую...

Раздвинут занавес времён...

Мёртвое море.

Зенабийя.

По развалинам прошлым и будущим...

Взываю к тебе, о пречистый Господь...

Растаяли в сердце торосы...

Сирийская пустыня.

Дамаск.

Мечеть омейядов в Дамаске...

Разговор.

Есть люди будто бурный сель...

Поёт Фейруз...

Опустели бунгало в Тарсусе...

Беларусь.

Бесконечные сонные дали...

Рыжей корове, подруге моего детства.

Мой товарищ, в жестокой агонии...

Лес.

И на Польше лежит белый снег...

Реквием.

Фрагменты неоконченной поэмы

Авель

Не потерять бы только нить...

Затерялась деревня в чащобах глухих...

На перекрёстках тихих улиц...

Расстрел.

Кольшется небо от пламени...

Загромыхал засов и открылась дверь...

Тяжёлым сном забывшись...

Раздумья

Давно ли за праздничным столом...

Давным-давно, у самой кромки...

Блажен, кто...

Всё, что дышит, что слышит, живое...

Отчего, не пойму, мне так грустно с тобой...

Не пришёл к тебе я к ночи....

Застольная.

Ну, не бойся, дело к ночи...

Уходи, набежавшая грусть...

Стихи отписались...

Невский пустой...

Ночь без тебя беспокойными тенями...

Как далеко от тех стоянок...

Как булыжник у дороги...

В буераках, буреломах...

Мы все, словно Янус, двуликие...

В зелёном пруду твоих глаз...

Тебя я искал на просторах разбросанных...
Пройдя свой путь до половины...
Ворона, ворона, не каркай с утра...
Влечёт меня незримая волна...
Не обожай! Разочарованье...
Когда не в силах превозмочь...
Пять лепестков сирени ...
Слетела в сумерках неясных...
Осень во мне развезла все дороги...
Что строим, лелеем и любим...
Антону – Мы все рождаемся под аккомпанементы стоны...
Тане – В игре таинственной и сложной...
Гнусь, тружусь я...
В дикой вакханалии форм и множеств...
За окном отошло Бологое...
Я вижу твой стан...
В. Короткевичу – Оставив заботы дневные...
Седых волос – как звёзд в надлунной тьме...
Я – русский до мозга костей...
Я счастья полон...

Детям

В дебрях древних Занзибара...
Антону – Бродит где-то в Чернолесьи...
У болотной речки...
Дремлют ольхи у речушки...
Лесную сторожку построил я сам...

Стрекочет сорока....

Реминисценции

Из дальних стран приходите в мой дом...

О робкая, пугливая газель...

На женщине изменчивой жениться...

Законов глупых грозный, мрачный свод...

Бегу я от людей как от кошмара ночи...

Вижу я – человечество вязнет во лжи...

Коль хочешь справедливым в жизни быть...

Переводы

Из Максима Богдановича – Вокруг так красиво цветы расцветают...

Из Шанфара – Предсмертная песнь.

Из Абу Нуваса – Верни свой стих...

Из Табата Шарра – Встреча с гулем.

Из «Тысячи и одной ночи»

Из Аль-Байати – Песенка к Душанбе.

Из Джамиля Сидхи аз-Захави – Небо Ирака.

Из Мухи ад-Дина Фариса – Поэтический ребёнок

Из Хасана Иззата – Если увидишь зарю...

Как только ночь заблещет...

Лестница.

Поцелуй.

Из Башшара ибн Бурда – Я слеп от рожденья...

Всю ночь не спал...

Я создан был таким, как есть...

Будь рад, если сможешь сегодня поесть....

Из Абу Али ибн Сина – Касыда о голубке

Из Абу-ль-Ала ал-Маари

Предисловие к переводам

Хоть имя Аллаха на ваших устах...

Предрекает другому судьбу звездочёт...

Твердят христиане: «Всесилен Христос»...

Велик наш творец и в решениях строг...

Когда проходит мимо вас слепой...

Сменяется утро прохладой ночной...

Разве может детей не любить...

Пока живу, меня бранят...

Не ходи за спасеньем к врачам...

Язык человека страшнее, чем меч...

Говорят, что для душ наших место...

Прикинься глупцом и спокойно живи...

В тяжёлое время глаза потерять...

Себя обольщают напрасною ложью...

Не дружен с людьми я и вечно бегу...

Мы спорим извечно...

Наш жизненный путь сам Аллах начертал...

Не браните меня, не ругайте, христиане...

Есть в пустынях грабители стад...

Не в силах Аллах...

Не прячь ты на завтра припасы...

Вера и неверие...

Те люди, что в нишах молелен стоят...
Повелитель живущих...
Смеётся разумный...
По глупости нашей нам хочется жить...
Спросите у звёзд – что же мир этот ждёт...
О Боже, дай в доме забвенья приют...
Угнетение стало обычным...
Если мчусь я своею дорогой...
Пусть никогда не теряет надежды...
Стали люди бессердечны...
Жемчуг слов рассыпая вокруг...
Пусть погаснет жизни пламя...
Жнёт богатый с сокровищ двойной урожай...
Превратятся в руины жилища людей...
В пучине лишений...
Пьяный, беззубый старик...
Немало вижу я людей...
Боишься, чтоб в лапы волков не попасть...
Ты грустен от того, что локоны твои...
Когда Марс прославляют, пою...
Нет в этом мире грехов...
Жизнь проходит... Родных почитай...
Жизнь, ты теплишься в звёздах ночных...
Печалются души о теле своём...
Боятся люди умирать...
Свет зажжёшь во тьме ночной...

Говорят, когда тело умрёт...
Голубка серая, не вей...
Когда укроешься землёй...
Возможно, ты встретишь соседа в пути...
Дни изнурённые, ночи бессонные...
Мы живём среди скопища горя...
Человек – как обычный медяк...
Как бы ни был велик человеческий род...
Если с кем подружился в минуту тоски...
Мы надеемся жить без конца...
Вы смеётесь...
Владыка, шутя, может ввысь вознести...
Когда саван наденет живущий...
Довольно и той с нас печали...
Кто прожил девяносто лет...
Я вижу, как Салих разрушил Алеппо...
Мечи привешены к бокам...
О, если б мог я заставить народ...
Остерегайся пить вино...
Здесь правят цари без сердец...
В мечети грозит он господним судом...
Своё тело, из грязи отлитое...
Клянусь жизнью своей...
Коль заруют под землёю...
Если хочешь узнать о пороках моих...
Кто общается с людьми...

Пусть смеются враги надо мной...
Весь город священный от гвалта дрожит...
Истёрлись руины роскошных дворцов...
Один в этот мир безнадёжно влюблён...
Нависший меч не поразит...
Сбрось, душа, свои одежды...
Из стран отдалённых...
Стремится друг к другу...
Хлеб твой насущный дарует Господь...
Когда старой и грузною станет жена...
Трезвонят шииты о чуде...
Рассвет ожидаем во мраке ночном...
Полсотни лет – полглыбы вековой...
Прекрасно, что солнце встаёт...
Когда приходит старость к нам...

Тётка

Неподалёку от Несвижа, если идти по Екатерининскому тракту в сторону Столбцов, на пригорке, где начинается Мещанский лес, ещё долгое время после войны торчали печные трубы сгоревших домов.

Длинной полосой – то исчезающей за пригорками, то появляющейся на них, вдоль тракта тянулись вырубки. Искорёженные пни, обгоревшие сучья, разбитые машины и полевые кухни, изодранные рыжие заплечные мешки, гофрированные цилиндры от противогазов – все смешалось здесь,

как смешивается на берегу весь мусор от бушевавшего моря.

Я видел этот лес и в сорок первом – тогда здесь, по ельнику да березняку валялись наши прострелянные каски, наши артиллерийские повозки и окровавленные бинты, вмятые в сырую землю гусеницами танков.

Тогда ещё стояли эти хаты. Одна, покрытая трухлявой соломой, уже кособочилась, другая, крытая дранкой, была срублена лет десять назад и стояла бы ещё полтора-два десятка. За изгородью из берёзовых жердей цвела картошка, а между грядками виднелись разлапистые яблони. Впереди домов, со стороны дороги, за плетёным забором зеленели несколько кустов отцветшей сирени и вишняк, усыпанный крупными красными ягодами.

Всякий раз, когда пас коров вдоль дороги, я приходил сюда. Открывал старую, на заржавленных петлях, калитку и шёл к колодцу. Мне не то чтобы хотелось пить, но всегда тянул этот старый глубокий колодец, уходивший куда-то далеко-далеко под землю. Станешь у края, нагнёшься, и гукнешь в бездну, и оттуда полетят глухие тревожные звуки. К ржавой цепи было прикреплено небольшое, с кованым ободом у донца, ведро. Опустить его, и полетит оно быстрее и быстрее, ударяясь о цементные колодезные кольца и потом, где-то там, внизу послышится тихий стонущий всплеск.

Здесь, в наших краях, где ни копни, сразу же выступит вода. Она хлопает под ногами в любую пору, даже когда нет дождей. И нужно же было строить дом на этом пригорке, чтобы

потом выбросить столько земли, докапываясь до воды.

Железная рукоятка ворота не была полировано-блестящей, как это бывает у всех колодцев. Воду, видно, доставали нечасто. Да и кому было доставать её? Жила на хуторе только одна тётка – в коричневом домотканом френче с накладными карманами, точь в точь как у тех польских военных, каких часто я видел в старых журналах. Тётка всегда покрывалась чёрным поношенным платком и ходила в больших мужских туфлях со смятыми до самых каблуков задниками.

Пастухи, такие же как и я, говорили о ней разное. Будто, жила она одна в старой развалюхе. Детей не было, а мужик построил новый дом, вырыл колодец, да и помер от того, что и сруб сам делал, и колодец рыл. Это уже точно, одному все не потянуть – надорвёшься. Вот и сосед наш, Ахрамович, мужик был такой, что подкову ломает, а выстроил дом, так одни кожа да кости остались, как у его кобылы.

Тётка... А как же её звали? Да никак. Просто Тётка. Кто придёт напиться, так и скажет «Тётка». За грибами пойдёшь, скажешь, встретимся около «Тётки».

В новый дом после смерти мужа она не пошла. Весной сажала картошку, рассаду помидор и капусты, огурцы, ну всякую там зелень, как и у всех на огородах. С того и жила. А что нужно одинокой бабе? Насолит огурцов, наквасит капусты. Картошка, морковь, бурачки свои. Кабанчика, может быть, держит. Так что, можно прожить на хуторе.

К лесу коров я гонял редко. Далеко было от города, да и

какая по обочинам дороги трава? Выбитая, пыльная. Узкая полоска отчуждённой земли, которую каждый хозяин норovil прихватить плугом. Если и пригонял, то для собственного удовольствия....

Тянуло к лесу, к запахам трав, к краскам, менявшимся с каждой минутой. Набежит облако и проползёт голубая тень, выглянет солнце и запрыгают прозрачно-золотистыми мотыльками блики на берёзовых листьях. Ляжешь в мягкую траву и пахнет на тебя запахами папоротника, зверобоя, столетника, каждой травинки... А кругом только тихие шорохи и пчелиный гул над полянкой. Есть в лесу такие мгновения, когда всё замирает, не движется. Коснёшься рукой неподвижной берёзки, и затрепещет высоко-высоко в кроне листва, отозвавшись на твою добрую нежную радость.

Была и вторая причина: сама тётка. Всякий раз, как я приходил сюда, мне хотелось зайти на её хутор. Не из-за той краюхи хлеба, испечённого на листьях клёна, или огурца, притаившего прохладу утренней росы, а просто потому, что с ней было тепло. В благодарность за это тихое тепло, застывая на холодном и насквозь пронизывающем ветре, прижимаясь к промокшим снопам, я без конца спасал тётку от жестоких бандитов, приносил ей тёплые ватники и настоящие, черные от гуталина, сапожки, в каких тогда ходили только немецкие медсестры из госпиталя.

Только она смотрела на меня так, как ещё год назад смотрела мать. Многие в те годы смотрели на нас, беженцев, на

детей, разбросанных войной, оборванных, босых и замурзанных, глазами, набрякшими от слёз. Смотрели бабы глазами мокрыми и жалостливыми; смотрели суровые мужики – и жёсткие складки на переносице и у рта становились глубоже, даже в детских глазах было не любопытство, а жалость.

Война тогда ещё не убила каждого четвёртого из нас. Не затронула тогда она город и близлежащие к нему деревни. Он стоял в стороне от дорог, на отшибе, и поэтому основная лавина немцев укатилась, минуя его, не сняв уродившихся в тот год ржи, гречихи, пшеницы, овса. Немцы не переловили гусей и кур, не угнали коров. Крестьяне торопились собрать урожай и, предчувствуя приход тяжёлых времён, загодя прятали все, рыли ямы в хлевах, стелили досками и по ночам прятали припасы и винтовки, подобранные в поле.

– Что, хлопчик, нелегко тянуть? Одной только цепи на пуд будет! Дай подсоблю.

Она стояла передо мной в сатиновой чёрной блузе, повязанная таким же чёрным бязевым платком. Глаза голубые, выцветшие, нерадостные, под ними густая сеть разбежавшихся, как рябь по воде, морщинок.

Она положила на рукоятку свою огрубевшую большую ладонь, поправила цепь, чтоб накручивалась по второму ряду и стала медленно крутить, поглядывая на меня и на цепь.

– Вот так, хлопчик. Пей с ведра, а если хочешь – в сенцах стоит кружка. Сам бы ты ведро не вытянул – уж больно тяжёлое. Что и говорить: ведро тянуть – что жизнь тянуть.

С каждым разом все тяжелей и тяжелей... Накрутишь своё, а там, снова она летит, как ведро, спущенное в колодец. Ты посиди, никуда твои коровы не денутся. Пускай тут с краю походят.

Скажет тётка, вздохнёт о чем-то. Посмотрит на меня и сядет тут же у колодца на старую дубовую колоду.

– Ноги, поди, давно не мыл горячей водой с мылом. Видишь, как потрескались...

– А где же их сейчас возьмёшь? Пригоню поздно, у колодца обмою, чтоб хозяйка не грызла.

– А что, больно грызёт?

– Ну.

– А за что?

– А так за все. Корова молока меньше даёт – я виноват. Потом – объедаю их. А сама, халява – так муж её называет – лишнего ничего не даст. Иногда и отлупцевать может. Ушёл бы, да куда? Сейчас везде одинаково.

– Что же, переходи ко мне. Вместе бедовать будем.

– Не пустит. Да и вам навредит. Шулейка в полициях ходит. Он, как напьётся, так сразу каждому в лицо кулаки тычет, а мне особенно... Говорит, что из под земли меня найдёт и выдаст, что я будто комиссарский сын. А какой же я комиссарский сын, если отец мой дорожным мастером был. Только кто поверит мне, если он скажет. Вон в Глинищах за школой целую семью командира постреляли. Кто-то донёс. Наверное, Шулейка, потому что в тот день напился – да так,

что в хату на карачках вполз, а потом жену бил и меня так съездил, что всё нутро выворотило.... А на следующий день большое зеркало принёс, и женское пальто, которое носила учительница, жена того командира. Нет, тётичка, лучше не надо.

– Ну что ж, потерпи, может быть и наши скоро вернутся.

«Наши»... Тогда редко говорили это слово. Даже пастухи между собой избегали его. Только когда в поле находили заржавленную каску или гильзы, прорывалось – «наши». На безымянных могилках, бугорках у обочин дорог, иногда появлялись цветы, и я знал, что пастухи, такие же, как и я, носят в душе это слово.

.....

К тётке я привязался всей душой, и особенно после одного случая.

Почти с версту от города, туда, ближе к лесу, было небольшое болото, поросшее осокой, с небольшими продушинами воды, оставшимися от заросшего уже давно озера. Сейчас нет и болота. Только сочная трава мягко и глубоко утопает под ногами. Так вот, однажды утром я пригнал коров на это ничейное болото. Всю ночь хлестал дождь, и утром по небу катились серые лохматые холодные тучи. В хорошую погоду, когда лежишь на сухой и пахнущей траве, а высоко в синеве расплзается редкое облако, дивишься причудливым преображениям и видишь добрых медведей и стремительных лошадей, не то что в то хмурое утро, спустившее стаи косма-

тых и злых чудовищ.

Продрогший так, что зуб на зуб не попадал, я гнал понурых коров по чисто умытой песчаной дорожке, изрезанной ручейками, сбегавшими с пригорка. Коровы то и дело, косясь на меня, норовили скубануть зелёные побеги пшеницы. На пригорке, где было поле Дылевских, виднелись вчерашние следы коровьих копыт и проплешины в пшенице. «Вот уж зря, – подумал я. – Не дело пшеницу скармливать скоту. Хотя Дылевский – порядочная холера, но хлеб есть хлеб». А когда пшеница отколосится и станет пожелтевшей стеной, то идёшь по дорожке, так что тебя не видно, а упругие стебли шепчут, склонив головы с жёсткими губами, и кажется тогда тебе, что поле – это бесконечные ряды вислоусых казаков в рубашках, расшитых васильками.

Дылевский, конечно, дрянь, только жалко, что у самой дороги больше не поднимется пшеничная стена...

От холода и сырости сводило босые ноги и так хотелось забраться в ворох тряпья, валявшегося в чулане, где я спал, что при одной только мысли о нем, почувствовал, как тепло расплзлось по телу. А потом снова задрожал мелко и судорожно. Нет противнее этой промозглой погоды, но если поддаться ей, то совсем не осилишь себя. А что в чулане? Грязно и темно. Хоть бы щели были. А то темно так, что кричать хочется. А приоткроешь двери, так кажется, что из сеней, где висят старые фуфайки и конная упряжь, ползут кособокие, с перекошенными лицами, тени. А закроешь, так будто бы

и нет.... Только скребутся и царапаются, о чем-то шепчутся между собой, хотя я точно знаю, что это ветки от кустов сирени, упирающиеся в прогнившие доски сеней.

Я спускаюсь по дорожке за коровами к лужку. Низкие тучи, кривляясь и лохматясь, ползут по пригоркам. Ветер, порывистый и сильный, хлещет по лицу, и я поворачиваюсь к нему спиной, так что полностью вижу пригорок и на нем – дрожки и серую кобылу Дылевских. Самого его не видно – значит, ходит по полю и смотрит потраву. «Ой, не к добру я пригнал сюда коров. На меня, может быть, и не подумает, а зло сорвёт – это наверно».

Вначале я увидел его синюю выцветшую фуражку, а потом появился весь Дылевский – от головы до ног в огромных кирзовых сапогах. Он быстро спускался в лужок, а я, дрожа не то от холода, не то от страха, как вмёрзший, стоял на мокрой траве и не мог оторвать глаз от надвигающейся на меня фигуры крепкого, раза в два-три, а, может, и больше, мужчины.

– Что же это ты, байстриук, гниль безбожная, робишь? Ты куда это коров пускаешь, паскуда бездомная?

– Ой, дядечка, за что же так? Ну, дяденька, ой, не буду же!

Дылевский хлестал кнутовищем со всего размаху, норовя стукнуть по голове, а потом одним ударом свалил на землю и долго бил носком сапога так, что боль пронизывала все тело и в глазах, при каждом ударе, с треском лопались яркие шары.

Усталый и злой, он сплюнул на землю.

– Забью до смерти, падаль! Ещё раз пригонишь сюда, в землю вгоню!

Приминая мокрую, скользкую траву большими кирзовыми сапогами он шёл к пригорку, где его серая кобыла скубла край чужого поля.

Он шёл, а я лежал на мокрой траве, обеими руками сжимая горло, чтобы сдержать рыдание, от которого оно нестерпимо болело. «Божачки», – пытался шептать я разбитыми и солёными губами, и буква «о» прыгала и никак не могла попасть на своё место. «Божачки, так за что же?» Я же молитву выучил для тебя: «Отче наш, иже еси...» Не, правду говорили до войны, что тебя нет... Дылевский в костёле носит большой такой крест, а если бы я не увернулся, так шишками на подошве вбил бы меня, как тебя вбивали гвоздями. А за что? Не я стравил его поле. Было бы за что, так пусть бы бил: я же знаю, чего стоит кусок хлеба.

Паскудные люди, эти Дылевские. Старый наденет свой синий картуз с маленьким чёрным козырьком, защитный френч, как у Пилсудского и яловые начищенные сапоги, и идёт в костёл, а Стах, такой же, как я, пастух, говорил, что он колом забил раненого красноармейца, у леса, и снял с него сапоги. Потом того хлопца похоронили пастухи у дороги, и я сам часто присыпал землю, чтобы собаки не разрыли его босые ноги.

Старший сын его, говорят, дольметчер, переводчик не то

в Минске, не то в другом месте. Один раз, когда постреляли в ямах по Сосновскому тракту евреев, он приезжал в город и тогда, видели люди, как поздним вечером серая кобыла Дылевских еле втащила на их двор воз, доверху нагруженный подушками, одеялами, сундуками. А потом старая ведьма Дылевская ходила в костёл в том пальто с меховым воротником, в котором когда-то часто видели жену дантиста Рапопорта. Город как на ладони – не успеешь на одном конце чихнуть, как на другом «будь здоров» скажут.

Стоя на пригорке и выжидая, пока серая кобыла поскубёт с чужого поля, он погрозил мне ломаным кнутовищем, хотя я и без него знал, что нужно быстрее гнать коров по узкой дорожке к Екатерининскому тракту. Погоню к лесу...

За плетнём во дворе было пусто. Намокшие и нахохленные куры прятались под навесом. У дощатого сарая, где лежали позеленевшие старые бревна, ходила, принюхиваясь, приبلудная рыжая собака.

Тётка подошла сзади, видно, была у соседей, на другой стороне тракта.

– Заходи, хлопчик. Что же ты такой грязный? – Она стояла в своём коричневом домотканом френче с большими накладными карманами и присматривалась ко мне. – Кто же тебя так разукрасил?

– Дылевский с Садовой. Я, тётичка, ей богу же, не пускал своих коров в его поле. Видно, ещё вечером вчера пастухи проглядели за гулянками. А я только пригнал на луг, и тут

примчал на дрожках Дылевский – и давай садить в меня кнутовищем! А потом сапогами топтал, от злости. Только это и вправду не я.

Сев на колоду и положив свои большие потрескавшиеся и распухшие руки на колени, она смотрела на меня так, что хотелось уткнуться в её серые руки, заскулить и завывать, сжаться в маленький комок.

– Пойдём, хлопчик, умойся. Коровы пусть ходят.

В сенях я вытер о мокрую тряпку грязные ноги и вошёл в комнату. В центре стоял массивный овальный стол, а рядом – диван, с высокой спинкой и узким зеркальцем, вокруг стола – несколько старых венских стульев. Рядом со столом тянулась грубой деревенской работы дорожка. Справа была кухня, отгороженная жёлтым двустворчатым шкафом с коричневыми сердечками сучков, от которых к самому полу разбегались острые волны разводов. Выбеленная печка отдавала тепло.

– Снимай с себя телогрейку и садись на диван. Я мигом.

Тётка бегала в сени, возвращалась то с ведром воды, то с тазом, то снова куда-то пропадала. Я сел на диван и спрятал ноги под стол, потому что в чисто выбеленной хате они казались не к месту.

Диван был старый и обшарпанный. Пружины выпирали, прикрытые ещё не совсем протёршейся тканью. Но все равно сидеть на нем было уютно и сладостно, будто у себя дома, в тот июнь, когда ещё не началась эта война, когда дом ещё

не сгорел, когда в воскресный день все садились к столу, и на нем дымилась картошка, и скворчала яичница на колбасе, а в сахарнице, до самых краёв, виднелись голубоватые, как льдинки, кусочки рафинада.

– Ирод – он и есть ирод, – сама с собой говорила тётка, роясь в жёлтом шкафу. – Надо же так излупцевать малого. И так одни кости да глаза. И что же война с нами сделала? Люди стали злее волков. Вот уж правда, так правда, что в общей беде каждый раскрывает свою природу. Но я ему это задаром не спущу.

Тётка что-то говорит, а я лечу, лечу над булыжной мостовой, над красной черепицей домов, над позеленевшими соломенными стрехами, взмываю высоко над гудящими телеграфными проводами, страшась руками задеть за них, над липами, пахнущими мёдом, лечу, чувствуя, как руки упираются в плотный упругий воздух. Куда же это я? Ах, да, в вырей, туда, куда улетают все птицы, туда, где за синей-синей каймой лесов розовеет небо; туда, куда ушли наши, чтобы снова вернуться в родные гнёзда. Я стремительно несусь к этой синей кромке лесов, и вот уже подо мной растёт и растёт дорога – так что я вижу каждую выбоину, вытоптанную траву по обочинам и густую скрипучую пыль, пыль от нескольких километров ног. И вся эта дорога движется и шевелится как живая, голосит, грохочет, скрипит, ржёт и плачет.... Я иду за двумя красноармейцами, стараясь не отстать от них, иду из под самого Бреста...

– Хлопчик, слышишь, хлопчик! Давай умойся тёплой водой с мылом. Сморило тебя, это от слез.

Вечером, когда пригнал коров, в воротах встретил Шулейка.

– Ты что же, раззява, пасти не умеешь? Загнал коров в чужое поле, так посматривай по бокам, чтобы не попасться. А разделал он тебя что надо – морда распухла, будто в пасеку лазал. Иди, иди, следующий раз попадётся, так и я ещё добавлю!

В этот вечер корова дала меньше молока, но Шулейчиха на этот раз выместила все зло на Дылевских. Припомнила, что и сам он кособокий кабан, и жена его – выдра облезлая, и что хапнули они еврейского добра целый воз, и ничего, не подавились.

На следующий день, рано, я пригнал коров к лужку и видел издалека, как на пригорке прыгал, кричал и махал ломаным кнутовищем Дылевский. До самого конца полосы лежала скошенная пшеница.

1959 – 1968

Красные яблоки.

Тихо колышется спелая рожь и лёгкий ветерок перебирает берёзовые листья, поворачивая их то серебристо-тусклой стороной, то зелёной. В посохшей августовской траве муравьи по частям растаскивают жука и бегают у меня на ладони, норовя ухватить крошку хлеба.

– Дядька Парэйка, а разве муравьи не люди?

– Какие же они люди? У муравьёв души нет. Душа только у человека.

– А что такое душа?

– Душа? А кто её знает. Совесть, наверное.

– А что такое совесть, скажи.

– Ну это как бы стыд. Если что-то дурное сделал, а потом от себя же самого отвернуться хочешь. Вот, к примеру, соврёшь, а потом стыдно. Это совесть в тебе говорит, а она-то и есть душа. Потому и говорят, что человек умирает, а душа его остаётся – значит, стыд его или совесть. Добро – оно и есть добро, оно не гибнет, хотя гибнут люди.

Дядька Парэйка знает всё, и если сказал, что душа – это совесть, то, хоть ты и не видел её, верить можно. Вот, к примеру, сказал он вчера, что яблоки уже созрели, так и вправду зёрна чёрные.

Утром, ещё до выгона коров я залез в сад к Цвирке. Одних только опадков полную пазуху набрал. Если Цвирка тот лаз заметит, шкуру спустит. Потому что кто ещё от нас к нему в сад залезет?! А яблоки красные, налитые – вся рубашка садом пропахла.

– Дядька Парэйка, хочешь яблоко? Красное, мягкое! Тебе по зубам будет в самый раз.

– Не, хлопчик. Не ем я яблок. Не ем огурцов. Если б можно было, так и хлеба бы в рот не взял. Я, когда был таким как ты, тоже по садам шастал...

Тожe скажет – «шастал»! Сухой, искорёженный, как трух-

лявый липовый пень. Еле тянет сапоги, загребая песок, а – «тоже по садам шастал»! Смешно, ей-богу. Живёт он при дочке, здоровенной некрасивой тётке. У неё короткие льняные волосы, большой нос и длинные, с огромными коричневыми ладонями, руки. Ходит, переваливаясь, как медведица на задних лапах. Конечно, если б было у них побольше земли, так кто-нибудь и женился бы на ней...

Тётка Парэйка сама косит и пашет на их небольшом поле, но чаще – у людей, потому что своей земли хватит только чтоб ноги протянуть... А с деда какой работник? Много лет назад его придавило на лесозаготовках – еле выжил. Только вот работать уже никак не может – одна рука висит как плеть, да и переломанные ноги срослись не так как надо. Человек он грамотный, читает на русском и на польском, и даже с немцами может объясниться, потому что ещё в ту войну был у них в плену.

Здесь у нас, в Западной Белоруссии, вообще народ многими пообтёртый – потому-то и может на разных языках слово сказать. Вчера Парэйка увидел немца-шофёра с трубкой в зубах, остановившегося по надобности на тракте, подошёл, и по-немецки ему: «Дайне люлька пух-пух-пух, майне люлька ниht пух-пух-пух!» Похлопал немец его по плечу и, сказав: «Гут, старый шорт!» насыпал целую жменю табаку. А Парэйка ему по-немецки: «Данкешён!» – «спасибо», значит. Мы это «данкешён» переделали в «дай в кишень!», потому что – похоже, да и, если что-то просишь, так, конечно, в «ки-

шень» – карман по-русски. Вот и мне всё равно – что белорусские, что русские, а что польские песни петь. Была бы только охота.

– А, может быть, съешь яблоко? Смотри какое мягкое и сочное!

– Не.... Ты знаешь, хлопчик, ту яму, что по екатерининскому тракту, ту, куда всегда сбрасывают городской мусор?

– А как же! Я по екатерининскому коров гоняю. И в яме той однажды книжку нашёл – «Чтец-декламатор». Хочешь, так все стихи оттуда прочитаю? Есть такие жалостливые, про любовь – «Брат мой, брат, страдающий брат...» – про какого-то Ваала, после которого любовь будет.

– Про Ваала я не знаю.... Но та яма поперёк всей моей жизни стала... Я аккурат тогда корову пас у тракта, неподалёку от этой ямы. Было их немного – подводы три. Несколько старых цыган и цыганок в длинных юбках и целый выводок детей. Ехали они в сторону леса.... А дело было к обеду, так я достал кусок хлеба, что с вечера завернул, яблоки и парочку огурцов, потому что уже сосало под ложечкой. Корову-то, штоб комар её убрыкнул, вывел, часов в семь. Ну, только я разложился под берёзой, как вижу, по дорожке, что наискосок по ржи к тракту, едут три фурманки. Въехали на тракт.

Гляжу – цыгане! Ну, как увидели меня, так хлопчики и девочки сразу бегом, и давай просить – кто хлеб, а кто – огурцы и яблоки. Подошла и ладная баба, с кольцами, серьгами и монистом из царских гривенников. Грудь пышная,

сама вся в теле, юбка – красная, до пят, а глаза – голубые. Ну не цыганка, а орловская красуля! «Поделись, – говорит, – дедок, чем Бог послал! Видишь, как изголодались». Да и говорила она не как все – «дай погадаю, разлюбезный!» – горворком цыганским, а так – по-русски очень!

Отдал я всё, конечно, а цыганка все же погадала мне по руке. «Несладко жилось тебе, дедок. И дороги были дальние, и болел ты долго... А сейчас живёшь ты одиноко, приживалом. Только долго ты будешь жить, переживёшь всех близких... Всё сгорит в один миг, а ты останешься. То, что увидишь – будет больней того, что видел уже, того, что переболел». Сказала она так или по-другому, сейчас уже не помню. Но смысл был такой. А, может, такого разговора и вообще, браток, не было. Если о чём-то долго думаешь и часто в мыслях к тому возвращаешься, то уходит оно в память и потом живёт в тебе, будто было оно в самом деле, а не ты мыслями своими породил... Я ведь, хлопчик, столько передумал, пока корова шершавым языком траву приминала, что из этих дум до самого Бога поднялся бы целый стог... Только Бог сам по себе, а мы сами по себе, как высказанные слова...

Сказала она мне всё это и, улыбаясь, довольная пошла к фурманкам, а юбка шуршала и билась прямо как красная волна под её ногами, и волосы как змейки лоснились на её крепкой спине. В жизни не видал такой статной!

Потом, галдя и прыгая, пошли они вслед за никчемными, усталыми конями по тракту, а я всё стоял и думал о том, что

она мне нагадала....

Аккурат перед самой ямой нагнал табор немецкий вонючий дизель с солдатами. Ехали они с города, и в кабине сидел какой-то фриц в чёрном мундире. Губы вытянуты в бечеву, скулы острые; похожий на доброго старого грача с серым клювом. Он-то и вылез из кабины. Я, конечно, не слышал, что там говорили. Только увидел, как из кузова повывскакивали хлопцы в касках и давай цыган загонять в яму! И стало мне боязно так, что колотились руки и стучали последние зубы... Ветер совсем стих, и рожь замерла, так что за несколько вёрст можно было услышать костельный звон к обедне.

И тут я услышал, как голоса бабы и дети. Потом захлестали автоматы и, веришь, как живое, задрожало поле. А, может быть, и этого не было, а мне только почудилось....

Отряхиваясь и хлопая по плечу друг друга, из ямы поднялись немцы, залезли на машину и, оставляя синий дымок и пыль, укатили в сторону леса. У обочины, понуро повесив головы, стояли цыганские кони.

И вот, я, трясясь, пошёл к той яме. Ватные ноги путались, и я раза два упал, пока дошёл до неё. На самом дне, с того края, где ещё не так много было набросано мусора, на жёлтом песке лежали цыгане. И та, что гадала мне, прижимала к себе хлопчика, а рядом с его рукой лежало красное, в крови, яблоко.

В роще на одиннадцатом километре.

Промелькнула и поплыла грязно-жёлтая, переплетённая проволокой лампа, приплюснутая к серому бетонному потолку, закружился чёрный зубчатый переплёт на окне, и из этого вертящегося серо-жёлтого хаоса надвигались раскрытые беззубые рты, Тёмный массивный нос, как хищная птица, повис у глаз, будто собирался в них клюнуть.

– Кто это? – сказал нос.

– Бог его знает! Поди узнай под этим месивом крови и грязи, – ответили липкие губы.

Нос... Нос.... Нос...

Все плывёт и кружится.

Запах ладана. Ладана... На амвоне мелькает тонзура ксендза, она медленно разворачивается, и над всем костёлом повисает массивный изогнутый клюв, как у старой хищной птицы.

– Зденек, принесите ему воды. Он, кажется, сможет ещё отойти, – сказал нос.

– Воды нет, святой отец.

– Тогда постучите надзирателю, а вы, пан Квятковский, помогите мне перенести его поближе к окну.

– Он же изобьёт меня, святой отец.

– Попробуйте, Зденек. Это не так страшно... Вот так... Попрямуйте ему ногу. Кто же это?

.....

«Кто?...кто...кто-о...» – звучит далёкое эхо в гимнастическом зале.

Маленький скрюченный и шершавый директор, пританцовывая, пробегает перед примолкшей шеренгой.

– Кто? Кто сделал это, свиньи?!

– Пан директор, это сделал я. – Он делает шаг вперёд.

– Здралевич, вы?! Перестаньте меня мистифицировать.

Первый ученик гимназии!... гимназии... назии...

.....

Холодная струйка воды скользнула по переносице, застала глаза и сбежала по щекам.

– Лейте осторожно на губы. Дайте кружку Квятковскому.

У вас дрожат руки, Зденек.

– Я боюсь, святой отец. Он дал мне в зубы.

– За все приходится рассчитывать, сын мой.

– А за что рассчитываетесь вы, пане ксёндз?

– За грехи. Да лейте вы осторожно воду: её и так немного.

Иначе и вам придётся получить свою долю.

– Ну, это вы увольте. Я не собираюсь подставлять свою физиономию.

– Вы уже её подставили, попав сюда. Ну, да не будем спорить. А сам попрошу, если вода ещё понадобится. Полейте на платок. Ему нужно обтереть лицо. Кто-нибудь узнает его?

– Это Здралевич. Перед войной окончил гимназию с отличием. Отец, подхорунжий, пропал без вести ещё в сентябре 39-ого. Отменный был ученик, и я питал к нему доброе чувство. Что же они делают с нами?

– То, что и следовало ожидать от швабов. В 1914, как по-

знанчик, я воевал на стороне австро-венгров. Не дай боже быть заодно или против них.

– Вы нашли, Квятковский, какую-нибудь середину?

– В том-то и беда, что в этом смутном мире всякого, кто избирает некую золотую середину, выплёвывают, как в тех словах апокалипсиса... А вы скажете: «Не противьтесь злumu»....

– Это не я сказал.

– Вы это уже сказали, попав сюда.

– Мальчик, кажется, приходит в сознание. Положите ему платок на лоб. Вы, кажется, были его учителем, пан Яроцкий?

– Да, я вёл у них латынь и греческий. Все это ужасно.

– Судя по обращению с нами, дело идёт к тому. Как думаете, пан хорунжий?

.....

«Хорунжий... хорунжий... хорунжий....» Огромный мужчина с густыми, сросшимися на переносице бровями, и немного грустным взглядом серых глаз положил ему на плечи большие руки.

– Ты уже достаточно взрослый, чтобы быть самостоятельным, но ещё слишком юн, чтобы не слушаться взрослых.... Время настало трудное, и чем оно кончится, кто его знает...

....

Отец уплывает и тает в серо-жёлтом хаосе, где яркое солнце, переплетённое проволокой, приплюснуто к серому бе-

тонному потолку. И снова клубится холодный хаос. Цокает, грохочет, дрожит. По булыжной мостовой движутся и движутся серые шинели, скрипят и стонут повозки, и небо раздрают чужие слова. Серые шинели сливаются в серо-зелёную массу, и потные лица скалятся, кружатся, рывкают. На углу, у старой корчмы, упав на колени, зажав живот, извивается стриженный юноша, а рядом с ним застыл туго натянутый мундир с засученными рукавами. Улица морщится, корёжится, дыбится, и серые булыжники извиваются, скручиваются жгутом и повисают на фонаре. Гимнастёрка... изодранные галифе с одной только штрипкой... и жёлтые пятки, неизвестно почему висащие над землёй...

– Вам, кажется, легче? Ну вот и хорошо. Зденек, намочите ещё платок.

«Кажется, это старый ксёндз из фарного костёла. Почему я в костёле?»

– Что со мною? – шепчет Здралевич, и ему кажется, что он кричит этому старому человеку с огромным клювом, и эхо разносит под сводами костёла. «Что со мною... мною...» Почему же он так недоуменно смотрит на меня? Почему он не ответит, что со мною? Вот ещё одно, другое лицо. Застыли – безмолвные, вопросительные. Одни брови взметнулись вверх, другие шумно повисли, как тяжёлые перемётные сушья.

– Разделали парня, – говорят поднятые брови.

– «Сегодня я, а завтра ты...», – говорят опавшие. «Сего-

дня я, а завтра ты»...Разве я умер? Это Яроцкий. Из нашей гимназии. Что он делает здесь, в этой компании? Какой-то кошмар. Что же со мною?

– Где я?

– Успокойтесь. Пока помолчите. Вас недавно бросили сюда. Это тюрьма, – тихо говорит тот, кого называли хорунжим.

– Идите все спать. Я побуду около него, – говорит ксёндз. – Неизвестно, что нам ещё готовит утро.

– Отдохните вы, святой отец. Я посижу с ним рядом, хотя в нашем положении почти ничем не поможешь другому.

– Другому? Подумайте и о себе. Здесь каждый не в силах сделать что-нибудь для себя.

– Это уже неважно, Зденек. Когда нет возможности сделать что-то для себя, есть ещё возможность самому стать лучше.

– Кому это нужно, святой отец? Небу? Преисподней? – мрачно басит хорунжий.

– Вероятно, людям и, в первую очередь, себе.

– Какая мне радость от того, каким я уйду из этого мира. Если моя судьба расписана ангелами до последнего вздоха, то пусть же они трепещут в день страшного суда, ибо не они, а я спрошу их за все прегрешения. Если же я свободен, то как же он не остановит насилия, если он всеблаг, всемогущ и всевидящ?

– Не говори глупости, Квятковский. Мы знаем о нем не больше, чем инфузории. Впрочем, вначале поедим, а потом

будем философствовать.

Яроцкий из старого жёлтого портфеля, в котором носил Тацита и Цицерона, извлёк большой ломоть крестьянского хлеба, испечённого в русской печи на золе, и молча протянул ксендзу.

– Один из полицейских – бывший мой ученик. Так он позволил мне при аресте взять немного хлеба и выбросил святого Августина за ненадобностью. «Щадящие нас – не друзья нам, и не все поражающие нас – враги наши». Впрочем, без Августина я как-нибудь доживу оставшееся время.

– Вы думаете, они не выпустят нас? – слышится из угла испуганный голос Зденека.

– Вероятно, не всех, – ответил Яроцкий.

– Взяли многих. Я видел, как на крытые грузовики садились адвокат, доктор Лычковский, директор гимназии, профессор Шимановский. Их было очень много, но свет проезжавшей машины выхватил только их и ещё какие-то лица, выглядывавшие из задней двери. В нашей машине, кроме пана Яроцкого и Зденека, было ещё около восемнадцати человек и среди них ксендзы из Клёцка и Снова. Остальных я не знаю.

Квятковский остановился около ксендза, спокойно перебирившего чётки, и спросил:

– А кто был с вами?

Ксёндз тихо шевелил губами, погружённый в себя. Кажется, он не слышал вопроса, и мысли его были сосредото-

ны на чем-то более важном для него в эту минуту. И все же он слышал вопрос.

– Нас было только четверо. Я, доктор Ланге и два студента Виленского университета, приехавшие домой на вакации.

– Значит, и доктор Ланге. Ну его-то, наверное, взяли случайно. Как ни говорите, немец немцу глаз не выключет.

– Какое это имеет значение! Доктор Ланге отказался выдать русских раненых из своей больницы. Их все равно взяли на следующий день и расстреляли в карьере. После этого доктор плюнул какому-то высокопоставленному немцу в лицо.

– При всех обстоятельствах, в ночных арестах была своя особая линия. Взяли почти всю интеллигенцию города, – размышлял вслух Квятковский.

– Вы судите по этому сопляку? – спросил Зденек, кивнув в сторону Здралеви́ча.

«Если прав хорунжий, – думал Здралеви́ч, – то действительно во всем есть какая-то линия, но я-то к ней никак не причастен. Я попался случайно, как глупый щенок. Два года прятал пистолет так, что русские не смогли найти, и сейчас, когда ищут похуже их, достал, чтобы гарцевать, как кавалерийская лошадь. Мне-то, ясно, уже не отвертеться. А с этими как будет, одному Богу известно».

«Не случайно они взяли ксендзов, – думал святой отец, опершись спиной о дверь. – Квятковский прав. Во всем этом есть какая-то линия. Какая? Хотят уничтожить интеллиген-

цию, чтобы подавить дух сопротивления? Но комендант города – порядочный католик, он едва ли допустит убийство священников. Да этого не допустит и немецкое духовенство. А если оно об этом не знает? Нет, это никак не вяжется с логикой. Немцы – католики, и зачем им убивать... Но остальные поляки – тоже католики, и немцы убивают их так же как и русских. Какая-то чушь. В конце концов, военное начальство должно понимать, что это вызовет ропот среди прихожан».

За окошком раздаётся выстрел, второй... Прокатилась автоматная очередь. Неожиданно в камере погас свет, и в наступившей тишине было слышно, как по булыжной мостовой простучали кованые железом сапоги.

– Ещё кто-то, – сказал угрюмо Квятковский.

«О чем, интересно, размышляет он?», – подумал ксёндз.

Квятковский думал о своём: «Бежать с хутора можно было без особого риска, когда подвода с полицейскими повернула из лесу на берёзовую аллею. Я ведь чувствовал, что едут ко мне. Всю неделю напряжённо чего-то ждал... Как и в то утро 1920 года, когда подломился жеребец, а уланы полным аллюром ушли из Смаргони... Багровое облако. Изодранные золотисто-розовые края. Долговязый зелёный кузнечик, как старый ротмистр, двигает беззубым ртом... Уйти можно было без риска через гумно... Пора уже копать картофель. Много не возмёшь – стояла засуха... Влодек таскается к Жилинским. Приструнить бы надо... Ксендза выпустят. Он-

то не поносил этих швабов... Збышек, курва его мать, донёс. А, может быть, Жилинский? Погоди же, выйду... Выйду ли? Что-то неладное здесь. Согнали всех неспроста... У ворот стоял Збышек Врублевский. Кто мог подумать, что этот парень пойдёт в полицию? Старый Врублевский повесился бы, узнав об этом. Порядочный был человек, хоть и лайдак, каких мало... А, может, просто так согнали? Нет уж, это непохоже на немцев. Все по плану и точно, как предписано. Но что предписано? Видно, и ксендзу неясно. Клюв побелел – видно, тоже неладное чувствует. Яроцкому что?! Ни кола, ни двора».

Старый латинист будто почувствовал вопрос.

– Мне-то что? Ни кола, ни двора... Цицерон не осиротеет, а святого Августина дочитают другие и так же, как и я, не найдут ответа.

«Значит, и этот думает, что все кончено». – прикинул Здравевич.

Об этом же подумали ксёндз и Квятковский. Только Зденек ни о чем не думал. Втиснув в угол своё рыхлое полное тело, он спал, обиженно надув большие пухлые губы.

– Всё в руках божьих.

– В руках капитана из Зондердинст команды, пан ксёндз. На прошлой неделе он распорядился высечь девиц, согнанных на ремонт дороги, две недели до этого на Екатерининском тракте расстрелял табор цыган и проявил милосердие к безумной тётке Кристе, велел вздёрнуть её двум полицаям...

Всё это за грехи наши? Так в чём же повинны убогие и дети?

– Не ожесточайтесь, Квятковский. Ожесточение – тоже насилие. Что повод, а что следствие – не нам уже познать. Люди ожесточили Бога или Бог людей – это то, что составляет предмет наших споров. Бог обидел Каина, Каин убил брата Авеля... А мы хотим познать их мотивы, когда нас убивают.

– Мне нет дела до этого, пан Яроцкий. Если уж я попал в эту нелепую ситуацию, мне не до извечных распрей Бога и людей. Прошу вас, святой отец, не обижайтесь на меня. Но если есть хоть маленький шанс выйти отсюда, то я уйду, каких бы нечеловеческих усилий мне это ни стоило. Я не могу позволить, пока я жив, распоряжаться мною ни Богу, ни капитану из команды. Главное – это выйти из здешнего ада. А там будет видно. Хотя я уж никогда не стал бы сидеть сложа руки в слепом ожидании расстрела... Я не могу представить, как люди, здоровые и сильные, идут как бессмысленные бараны к своей гибели. Рвать зубами, рвать в клочья всё, что между тобой и жизнью, бежать, если позади только могила.

– Bravo, капитан Квятковский, это почти как в провинциальном театре. Прошу извинить, но моя жена произносила не менее патетические речи, перед тем, как оставить меня. Можете себе представить, она бросилась на первого же поручика из пехотного полка. Не сердитесь на меня, но я, право же, не вижу в этом положении выхода...

«Почему он так говорит? – думал Здралевич. – Квятков-

ский сказал спокойно и без всякой театральности. Неужели латинист не боится смерти?»

На этот вопрос старый Яроцкий никогда не дал бы ответа никому. Он боялся смерти и внутренне содрогался при одной мысли о ней, точно так же, как некогда боялся скандалов жены, пересудов коллег, проделок гимназистов. Он, старый латинист, упоительно читавший о Гае Муции Сцеволе, готов был упасть без сознания только при виде разбитого носа. Он боялся всего, боялся и стыдился, и стыдливость его была сильнее страха. Она была его мужеством. Когда-то, в далёком детстве, он, конопатый мальчишка, впервые пересёк порог школы. Смеялись все. Смеялся класс, смеялся длинный и несуразный, как фикус, учитель, а сам он был готов провалиться сквозь покрашенный охрой и натёртый до блеска пол. С тех пор Яроцкий часто по ночам видел сны, в которых он, гимназист, студент, и даже учитель гимназии, переступал порог босыми ногами, а перед ним кривлялась и глумилась обутая толпа. Сны эти являлись исправно всякий раз, как только его ожидал очередной конфуз или неприятность.... И теперь, когда к нему пришли полицейские, он знал, что его ждёт ещё одна неприятность. Яроцкий не думал, что всё случится именно так. Не думал, что бывший его ученик Врублевский, второй в классе и, может быть даже не уступавший Здралевичу, придёт к нему и станет выбрасывать книги на пол, мешая Овидия с Фомой Аквинским, Эпикура с Люте-ром.

– Вам это доставляет удовольствие?

– Да. Всё это будет сожжено.

Врублевский был явно недоволен собой, но скрывал свою растерянность в развязном тоне. Напряжённость выдавали угловатые резкие движения, не вязавшиеся с его мягким характером. В них было что-то от кукол, и старому Яроцкому хотелось дёрнуть за какую-нибудь такую верёвочку, чтобы вся фигурка, обвиснув, упала на пол.

– Что же, с сожжения прошлого начинали все цивилизации.

– Так было всегда, и так будет. Собирайтесь.

– Вероятно, вы правы... Только раскаяние страшнее грехов, – сказал он, уже не думая о Врублевском и других полицейских, от чьих сапог на пожелтевших листах книг чернели грязные отпечатки подков. Он не слышал, как Збышек Врублевский, второй ученик после Здралевича, выбросив остальные книги, сказал не то ему, не то квадратному полицейскому, стоявшему на огромной книге с надписью “Allgemeine Gessichte”.

– В этом есть что-то индо-европейское.

– Так и будет.

Только стоя в дверях, Яроцкий почувствовал, что больше сюда никогда не вернётся. Впрочем, даже если б он смог снова переступить этот порог, то все равно никогда не вернул бы тот мир спокойных и вечно спорящих с ним книг. Поверженный и растоптанный, этот мир смеялся над ним.

– Я всегда думал, пан Квятковский, что можно улучшить жизнь других, делая своё тихое доброе дело. Я читал гимнастам Калигулу, а они писали его стихи на стенах ватерклозета. Я потрясал их апостольскими посланиями, а они посылали нас туда, куда и Буцефал постеснялся бы ходить.

«В этом не было злого умысла, пан Яроцкий. Мы любили Калигулу и вовсе не мстили вам, когда писали строчки из него в сортире. Просто там всегда было много свободного времени», – подумал Здралевич.

– Мы плохо их учили. Теперь приходится пожинать плоды своих ошибок, – сказал ксёндз, глядя на Яроцкого.

– Это неправда, святой отец, мы учили их хорошо, но учили прошлому, а история никого ничему не учит. Я не могу понять, как Врублевский, так тонко чувствовавший красоту древней поэзии, мог надеть чёрную форму с серыми обшлагами и топтать мои книги...

Ему никто не ответил. Квятковский, обхватив большими руками колени и опустив голову, казалось, сидя спал у серой стены. Ксёндз, повернувшись лицом к двери, стоял в своей чёрной сутане, как густая тень, падавшая от какой-то другой фигуры. Яроцкий что-то мучительно искал в карманах, но так и не найдя, сокрушённо вздохнул, подложил под голову большой кожаный портфель и лёг рядом. Ещё долго Генек слышал, как тяжело дышал его старый учитель.

Рано утром всех разбудил металлический лязг засова, и в камеру влетел небольшой бурый комок человеческого тела.

Гулко шлёпнувшись на пол, он как бы подпрыгнул и сказал:

– Пшепрашам, панове, день добры. Извините, я не хотел разбудить вас, но этот грубиян втолкнул меня ногой. Извините, я Станислав Цвирка с Садовой.

Говорил он быстро, будто боялся, что кто-нибудь перебежит его. Заметив ксендза, он быстро подошёл к нему и поцеловал руку.

– И вы здесь, святой отец?! Езус Марья! Что же это делается? Ну, я понимаю, они взяли меня. Я же спрятал Бухбиндера, а паны швабы не любят, когда кто-нибудь укрывает евреев.

– А зачем вы это сделали, Цвирка? – спросил его из угла Зденек.

– Но это же был Бухбиндер!

– – Ну и что же? Зачем он тебе сейчас, твой Бухбиндер?

– Но это же Бухбиндер, панове!

– Отстань ты со своим Бухбиндером! Бухбиндер – Биндербух! В этой вонючей дыре каждый думает только о своей шкуре.

– Но он же лечил всех нас! Он спас мою Дануту. А разве, пан Зденек, он не спасал панску пани, когда она приносила вам таких милых девочек?!

– Здесь каждый помнит лишь о себе.

– Нет, теперь, конечно, я могу подумать и о себе, но пока был жив пан Бухбиндер....

Стоя в углу, молился старый ксёндз:

«О Мария! Ты – полная любви Господа, ты – чистая и незапятнанная никаким грехом душа, свободная от всяческих мук, которые познала в этом мире, и живёшь счастливой и благословенной всеми народами в Чертогах Божьих. Ты также была дитём человеческим и сейчас вознесена над ангельским хором. Признаем тебя Матерью Иисуса Христа, Спасителя и Бога нашего. Ты жила в убожестве и недостатке. И только око Божье видело тебя достойной самой высокой миссии. Ты была дочерью Израиля, которая стала Матерью Мессии, чьё царство не имеет границ и конца. О, какой пример ты оставила нам пресвятейшей жизнью своей....»

О ты, благословенная среди невест, Мария, Мать Божья, пусть же через любовь твою найду я доступ к Сыну твоему, пусть найду я милосердным его. Упроси его простить мои прегрешения... Дай мне силу твоего терпения, дай мне силу во всех случаях судьбы, чтобы я вольно согласился с велениями и волею Бога....»

– Святой отец, скажите, разве я поступил дурно? Разве не все равны перед Богом?

Ксёндз молчал, потому что он не знал разницы между людьми, кто бы они не были. Не знал её и Яроцкий, потому что его мир был миром грёз, а в нём жили только символы. Но сейчас этот мир разлетелся, как стая белых голубей, которые когда-то были, как было розовое утро и запах лесных трав и шорох испуганной листвы на берёзе.

«Разве не все мы равны? Наверное, нет. Если все мы –

клубок противоречий, то как мы можем быть равными? Если все мы трепещем от боли, то как же можно простить её? Но он же снёс и простил все страдания... Но во имя чего, если пример не нашёл подражаний?!»

– Если бы каждый из нас понял это, то не было бы убийц и убитых, – сказал вдруг Яроцкий. – Мы не равны потому, что думаем о теле своём, забыв о душе.

В дверях снова слышался лязг открываемого засова, и все напряжённо и испуганно обернулись в ту сторону.

– Выходите!

В проёме двери стоял высокий красивый полицейский в ладно сшитом чёрном мундире, а за ним – грузный немец с автоматом.

Здралевич выходил последним: болела спина, ныли ноги, и разламывалась голова, как с дикого перепоя. Немец с автоматом, видимо, недавно заступил на дежурство: зевал, зябко поёживался и, сжимая челюсти, подёргивал плечами. Достав портсигар, на котором ещё виднелся след звезды, он вытянул сигарету. Одна упала на пол. Он посмотрел на неё, потом на Здралевича и показал на сигарету:

– Кури!

Здралевич, преодолевая боль во всем теле, поднял её и подошёл к немцу. Тот чиркнул зажигалкой, снова подёрнул плечами и процедил сквозь плотно сжатые зубы:

– Теперь уматывай!

Глубоко затянувшись, Генек помедлил, а потом поковы-

лял за видневшейся в конце коридора чёрной сутаной. Нагнав ксендза, отставшего от остальных с пожилым полицейским, он услышал обрывок фразы, в которой звучала непонятная тревога: «В берёзовой роще, на одиннадцатом километре».

«Берёзовая роща на одиннадцатом километре». Это по Сновскому тракту. Когда-то он ездил через эту рощу в имение своего друга-художника. Роща была на холме, по левой стороне за нею – сосновый бор, густой ельник, потом поля, болото и снова рощи и ельники, пропадавшие в дрожащей синеве. Справа от дороги, за озером, тянулись сенокосы, через которые ползла заросшая камышами тихая речка. Недалеко от рощи, по просёлочной дороге, на холме, укутанном клёнами, рябиной и ясенем, громоздилось деревенское кладбище. Огромный обомшелый дубовый крест, наклонившийся над дорогой, распростёр свои объятия. На открытых местах кладбища росла сладкая земляника, и запах её, смешанный с терпким запахом других трав, был непохож на запах лесной земляники. Старый сырой дом Мися, закрытый со всех сторон деревьями, тоже имел свой далёкий необычный запах уходившей юности.

Толстая Янина, сестра Мися, стелила по вечерам постель, и Генек долго ворочаясь под влажной, пахнущей речкой и травами простыней, слышал шорох её накрахмаленных юбок.

....

– Эй ты, подойди сюда! ...Ты... ты!

Красивый полицейский, держась руками за широкий немецкий пояс, перехватывавший его узкую талию, с улыбкой смотрел на него.

– Быстрее!

В интонации чувствовалась угроза. Здралевич подошёл к нему и опустил руку с сигаретой.

– Откуда сигарета?

– Угостил шваб.

Дальнейшее происходило очень стремительно и смутно. Квятковский подхватил его уже на лету. В глазах поплыли розовые круги, но боль в голове притупилась.

Возвращаясь в камеру, он шёл, держась за Квятковского. У того из рассечённой губы выступила, как слеза, большая красная капля.

«Значит, съездили и ему», – скорее зарегистрировал, чем подумал Здралевич.

У дверей камеры стоял старый полицейский. И снова Здралевича обожгла тревожная интонация фразы: «Завтра, в берёзовой роще на одиннадцатом километре». Но ни на лице ксендза, ни в глазах полицейского он ничего не мог прочесть.

«Что же будет завтра в роще?» Он чувствовал, что эти слова тесно связаны с его судьбой и судьбой остальных. В них была интонация испуга и предостережения. «Но не мог же молчать ксёндз, если бы это касалось всех нас?» Снова

нестерпимо болела голова.

Ксёндз стоял у стены. Губы его шевелились так, будто он читал молитву. Зденек, забившись в угол, закрыл глаза и оттопырил свои пухлые губы. Только Квятковский ходил из угла в угол.

– Перестаньте ходить!

– Это не то, святой отец, что должно вас сейчас раздражать. Что вам сказал полицейский?

– Ничего, ровным счётом ничего, что могло бы быть нам полезным.

– А не полезным?

– Тоже....

Здралевич хотел было уже спросить о берёзовой роще, но Яроцкий, копавшийся в своем портфеле, опередил его:

– Что может быть полезным или бесполезным для нас?! Не нужно обладать даром физиогномиста, святой отец, чтобы по розам полицейских не обнаружить их скрытых намерений. Вы боитесь признаться в том, что они нас убьют?! Мне много лет. И мне трудно забавляться в детские прятки с самим собой. Я тоже ещё имею желание выжить, хотя понимаю, что это, вероятно, исключено. Судя по их поведению, они недолго будут держать нас здесь.

– Врублевский сказал, что родственники толпятся у тюрьмы ещё с ночи. На вопрос «Пусть ли?» – не ответил. Пожал плечами и отошёл в сторону.

– Хотите закурить, пан Квятковский? У меня здесь в порт-

феле заваялось несколько сигарет и даже целая коробка спичек.

– Большое спасибо. Целую ночь я хотел курить, и только опыт Здралевица утром поубавил это желание. Курите. Черт дерзнул вас дерзить полицейскому. Могло бы быть и хуже. Где-то я видел этого красавчика?

– Это Дылевский, Олег Дылевский.

Пан Цwirка, успевшей в утренней стычке Здралевица с полицейским получить свою долю, сидел, сникший, рядом со Зденеком. Что-то общее было в их облике и в безнадежно посеревших лицах. Дылевский ударил его не то чтобы за дело. Он не вмешивался в их разговор. Пан Цwirка только закрыл ладонями глаза, чтобы не видеть этого мордобоя. Он так боялся боли. Он всегда боялся, что кто-нибудь ударит его в лицо и выбьет, Езус Марья, глаз. А этот Дылевский огрел его так, что зелёные круги поплыли перед глазами. Потом этот ржавый немец ещё добавил. Да. С этих Дылевских что возьмёшь? Ещё при Польше сидел за воровство, курвин сын, а потом при большевиках матку боску из часовни выломал. Бог с ними, с этими большевиками, они только Бога не любили, но рукам волю не давали. А отец его?! Тоже хорош, лайдак! При большевиках и так и сяк распинался: сын-де за правое дело страдал. Чтоб у него руки поотсыхали! Немцы пришли – бургомистром не то в Осиповичи, не то в Борисов подался. Почуял наживу.

Пан Цwirка всё больше распаялся, думая о Дылевских.

Лицо его покраснело. Он тяжело вздыхал и пухлой ладонью тёр отросшую за ночь бурую щетину.

Здралевич улёгся на цементный пол так, чтобы не видеть Зденека и Цwirки. Они раздражали его. Может быть, потому и раздражали, что в них он вдруг увидел свой страх и своё бессилие. Увидел, и испугался своей слабости.

– Как вас зовут?

– Генек. Садитесь рядом. Я не успел поблагодарить вас. Если бы не вы, то я бы совсем разлетелся от удара. Глупо, конечно, получилось. Он искал повода, и я дал его. Самое обидное, что всё это необходимо сносить. Если они все равно убьют нас, то какой смысл сейчас терпеть это насилие?

– Просто мы думаем, что нас выпустят, и из-за этого терпим всё. На какое унижение не пойдёшь – ради жизни.

– А стоит ли?

– Не знаю. В 19-ом я видел, как били одного коммуниста, свои же, русские. Он был весь рана, а смотрел на них с презрением. В 20-ом большевики взяли одного нашего поручика, так он к стенке шёл так, будто его вызовут на бис... Для этого, Генек, какую-то иную психику надо иметь, а не такую, как у нас. Когда я был в уланах, я, наверное, никогда не стерпел бы зуботычины, как сегодня. Тогда я был другой, сам не свой, а как бы во сне или подвыпивший. А сейчас? Сейчас я просто не хочу умирать. Вот пан ксёндз никогда не пойдёт на унижение, а ведь и он не хочет умирать. Не хочет. Иначе вопил бы проклятие швабам. Честь мундира. Он за неё с

молитвой на виселицу пойдёт. А вы?

– Знаю только одно, что не смогу пойти на подлость, но личные унижения уже стал переносить. А ксёндз что-то знает. Я слышал, как он говорил с пожилым полицейским. Правда, только конец фразы: «Завтра, в берёзовой роще на одиннадцатом километре». Может, это не касается нас, а я придаю значение сказанному? Бог его знает.

– Нет, не думаю. Он сказал бы, если бы это касалось нас. Какой смысл ему скрывать?

«Ключи от костёла остались у органиста, – думал ксёндз. – Сейчас он откроет двери. Впрочем, кто сейчас придёт? Старики и старухи. Гражина спуталась с офицером из Люфтваффе. Может быть, она попросит его? Не может же она не знать. Хотя, едва ли. До ареста она уехала с ним в Барановичи. Шлюха. Знал бы об этом отец... Тадек напрасно прислал её ко мне. В городе и так много ходит разговоров. «Шлюха»... Органист совсем оглох, а молодой плохо играет.... Здравевич, видимо, ничего не слышал. Жаль мальчишку. Какая красивая была его мать, когда венчалась. Хорошая была пара... Кто же останется без меня в костёле? Отец Антоний из Бернардинов? Очень стар. Хорошо бы закурить....»

За улицей, за тюремной стеной стоял рокот моторов.

– Тяжёлые танки. Немцы всё идут и идут на Восток. Кто бы мог подумать, – вздохнул Яроцкий.

До вечера их никто не тревожил. Все молчали, думали каждый о своём. Зденек и Цвирка, прижавшись друг к дру-

гу, спали. Прислонившись к стене, сидел мрачный Квятковский. Яроцкий заговорил на латыни с ксендзом, но тот не ответил. Он стоял весь день, стоял, перебирая чётки, и только по временам тихо шевелил губами. Здралевич то погружался в дрёму, то подолгу думал, глядя на переплёт решёток, через которые был виден только маленький клочок темнеющего неба.

– Ты не знаешь, зачем мне нужно умирать? – тихо проговорил Квятковский.

– Не знаю. Я не знаю, зачем нужно жить рабом, умирать рабом, и если все верно в Святом Писании, то и воскреснуть рабом, – Здралевич помолчал. – «И встанут они из своих разверзшихся могил с растрёпанными волосами и глазами полными ужаса».

– Да, если бы разом поднялись все те, кто лёг и ляжет на этой земле, то даже Господу не выдержать их крика.

– Им будет снова тесно.

Вечером им принесли передачу.

– Слава Богу, – встрепенулся Цвирка. – Значит, их все же допустили. Я так и думал, что немцы просто решили припугнуть нас. А, может быть, они пошлют нас куда-нибудь на работы? Я же говорил вам, панове! Угощайтесь, пан Яроцкий, вам-то некому принести передачу. Что вы, что вы, не обижайте меня. Здесь всего так много... И как немцы пропустили?! Видимо, их хорошо кормят, если они не взяли ветчину. Нет, вы садитесь поближе. Какой чёрт меня попутал с этим

Бухбиндером. Да, панове, я только в сарай пустил его. Он обещал мне, что вечером уйдёт из города. Если бы я знал, то, слово гонору, ни за что не стал бы связываться. Но он так много сделал для нас, что мне просто неудобно было отказать ему, панове.

Зденек, заметно повеселевший, ел сосредоточенно. Он причмокивал, смачно обсасывал пальцы. Он жил, этот Зденек.

Только ксёндз не притронулся к еде. Он сидел в углу справа от решётки с закрытыми глазами и, если бы не чётки, то можно было подумать, что он спит.

Успокоившись, все улеглись. Генек лёг рядом с Квятковским. При нём он чувствовал себя спокойным. Как каждый человек, он тянулся к более сильному. «Быть может, поэтому Збышек пошёл к швабам», – подумал он.

Рано утром их разбудил шум в коридоре. Лязгнули и распахнулись двери.

По коридору бегали полицейские. Во всём чувствовалась тревога и спешка.

Грузный немец с автоматом, давший Генеку вчера сигарету, толкнул ксендза. Тот зашатался, опёрся о стену, потом нырнул в дверной проём, подхваченный толпой выходивших из камер. На тюремном дворе, сером, как предрассветное небо, их разбили на кучки. Ксёндз, Квятковский, Зденек, Цвирка и Здралевич попали вместе.

– Что с нами будет? – спросил Зденек у Квятковского.

– Ничего хорошего.

– Святой отец, помогите, попросите их. У меня ведь четверо детей, попросите их за меня.

– Он может попросить за тебя только Спасителя, и тот пришлёт Азраила из зондеркоманды.

– Не говорите так, пан Квятковский, в такую минуту! Ведь вы же были порядочным католиком, вы всегда посещали костёл.

– То было воспоминание детства и вынесенный из него ритуал, который имел только тот смысл, что не имел никакого смысла.

– А вам не страшно умирать?

– – И жить страшно, и умирать страшно! Впрочем, никто не знает ни начала, ни конца своего, а остальное только страх.

Щупленький немчик, с острым носом и подбородком, тыча пистолетом в каждого поочерёдно, считал:

– Айн, цвай, драй... фюнф...

Полицейские стояли со всех сторон, направив на них карабины. Двое из них, от которых за версту тянуло перегаром, вытащили Цwirку.

– Вот теперь я тебе сделаю обрезание, – смеясь, сказал один из них и ударил Цwirку в живот.

– Перестаньте дурачиться! – заорал на них щупленький немец.

– По выговору наш, познанчик, – отметил Квятковский.

В машины садились быстро, подгоняемые полицейскими. Распоряжался Дылевский. Он бегал от одной машины к другой, размахивая пистолетом.

– Ублюдок, – сплюнув, сказал Квятковский и подал ксендзу руку. – Я вам помогу. Покрой вашего платья плохо рассчитан на этот вид транспорта.

Он помог взобраться ксендзу, затем быстро залез в машину и подал руку Здравевичу. Последними сели два полицейских и немец с автоматом.

– Куда мы едем? – спросил кто-то из глубины машины.

– В лагерь. В тюрьме тесно.

– А долго нас будут держать?

– Нет. Немного. Прошу вас соблюдать спокойствие. Если кто-нибудь будет шуметь, стреляем без предупреждения. В дороге не разговаривать!

– А что, разве кто-нибудь может подслушать? – Квятковский стоял почти рядом с полицейским, но их разделяла стальная решётка с дверями.

Полицейский сделал вид, что не слышал. Достал сигарету, закурил и уселся на скамейку у борта машины, расстегнув кобуру.

– Видимо, разговор закончен, – сказал Здравевич.

С самого момента погрузки он следил за лицом ксендза и сейчас обеспокоенно пытался увидеть на нем ответ на мучившую ещё с вчерашнего дня тревогу. Ксендз стоял, плотно прикрыв глаза, сжатый со всех сторон настороженно при-

тихшими людьми. Здесь были и адвокат, и лесничий, и агроном, несколько лавочников и крестьян, которых можно было узнать по грубому домотканому сукну и голубым фуражкам, какие ещё до прихода русских носили осадники.

Машина тронулась. И только в этот миг Генек увидел, как ксёндз раскрыл глаза. В них был испуг.

Поднявшись по Садовой, машина свернула на Виленскую, миновала уланские кошары и выехала на Сновский тракт. Где-то здесь, за придорожными берёзами в карьере, немцы недавно расстреляли евреев.... Их гнали пешком. Огромная колонна, беспрерывно подгоняемая полицейскими и все равно растянувшаяся почти на километр, галдела, пылила, торопилась.... «Сколько их было? Боже мой, людей расстреливают километрами. Почему передние торопились? Неужели, они не знали, что это конец? А зачем было медлить? Мы всегда боимся неопределённости больше, чем смерти. Спешим, добиваемся ясности, а она убивает нас. Может быть, и берёзовая роща, что не даёт мне покоя, будет последней чертой в моей жизни, после чего наступит окончательная ясность.... Или ничто. Что может сказать о земле рыба, поднятая со дна? «Если кто-то, оставив тело, уйдёт в мир иной, то почему он не вернётся назад снова, грустный от разлуки со своими близкими?» Откуда это? Яроцкого, кажется, посадили в другую машину. Жаль. А Збышек явно нервничал. Нервничал, как тогда, в актовом зале гимназии. Зачем я взял его вину на себя? Стоило ли вступаться за такое дерьмо?»

Генек стоял, тесно прижавшись к огромному телу Квятковского, держась за железные прутья решётки. Машина прыгала на ухабах, и люди подпрыгивали вместе с нею, валялись друг на друга, тихо переругивались, наступая на ноги соседям, толкали локтями, цепко хватались за тех, кого, быть может, никогда не любили.

«Когда же это кончится? – думал ксёндз. – Скорее бы конец этой дороге. «И неся свой крест, он вышел к Голгофе». Зачем мне нести крест молчания? Но и от разговоров нет пользы... Вся жизнь прошла в молчании. Молчал, когда говорили «не убий!», молчал, когда исповедовал и венчал. Господи, прости меня и помилуй! Я скорблю о тех, кто, перенеся эти муки, будет до конца своих дней испытывать острую боль воспоминаний. Я скорблю об оставшихся...»

– Вы что-то сказали, святой отец?

– Нет, мальчик, я кричал.

Машина резко затормозила, и тесно сбитая переплетённая масса людей копошащимся комом подалась вперёд.

Люди ругались, проклинали, стонали, и в этом шуме Здравевич слышал только «мальчик».

– Это уже лагерь? – спросил полицейского высокий смуглый крестьянин, державшийся за руку Квятковского.

– Успеешь. Скоро будет.

К машине подошёл Дылевский.

– Господа, осталось ещё немного. Пока расквартируют первые четыре машины, вам придётся немного обождать. А,

это ты? Ну как? Ну как твои дела? Хочешь закурить?

– Хочу, – Генек действительно хотел курить, и ему было безразлично, что в следующую минуту выкинет подтянутый, побритый в этот ранний час Дылевский.

– Дай ему сигарету, – сказал он полицейскому.

– Потерпит. Накурится ещё.

– Дай.

Полицейский, достав сигарету и зажигалку, протянул их Здралевичу.

– Ну как, сопляк, доволен? Такому, как ты, достаточно немного. За каждое удовольствие человек рассчитывается. Вчера ты получил в морду, а сегодня чего хочешь?

Предав сигарету Квятковскому, Генек посмотрел на этого красивого полицейского с нескрываемой насмешкой.

– А ты как считаешься за это удовольствие?

– Ты, гнилой труп, дерьмо собачье, спрашиваешь меня? Я-то всегда рассчитываюсь сполна.

Дылевский был спокоен.

– Ну и я рассчитаюсь сполна, если доведётся.

Здралевич был тоже спокоен.

– Такого не будет. Понял, сопляк?

В тоне Дылевского слышались новые ноты, и Здралевич, чувствуя в них угрозу, все же не смог удержаться:

– Нетрудно быть сопляком без «Вальтера» и продажной шкуры.

– Ну ты, потише, а то можешь получить пулю в свой во-

нующий рот. Закрой фонтан и прибереги слова для молитвы.

Дылевский отошёл в сторону, и Генек почувствовал, что только какие-то слишком сложные обстоятельства помешали этому ублюдку выполнить свою угрозу.

Полицейский, давший ему сигарету, достал откуда-то фляжку и тянул из неё.

– Оставь, – сказал второй, и первый протянул ему фляжку.

– Пей. Там осталось уже на самом дне. Вернёмся в город, напьемся. Франек обещал принести бимбар, если сам не надерётся, как вчера, после прогулки с комиссарами... В одного всадили семь пуль, а он всё идёт и идёт. Потом упал, как кусок брошенного мяса. Ну и здоровый же был!

Где-то невдалеке пискливый голос прокричал: «Трогай!» И машина, снова проваливаясь и прыгая на ухабах, помчалась вперёд, оставляя за собой скрюченные годами берёзы.

Высадили их на дороге. Впереди стояли ещё две машины, из которых прыгали, приседая на торчащие, как рёбра, булыжники знакомые и незнакомые Генеку люди. Вот и роща недалеко. Слева – карьер, справа – роща. У карьера несколько тёмных фигур. Всё ближе роща.

– Что же это?

– Молитесь, пан Квятковский.

– Уже, кажется, поздно....

Жёлтые пятна песка заброшенного карьера со скоростью курьерского поезда неслись на него.

– Это могила, святой отец.

– Знаю.

Квятковский огляделся вокруг. Справа от колонны шли, переговариваясь, немцы, слева – один немец и три полицейских, те, от которых несло перегаром. Позади них, опустив низко голову, медленно двигался Збышек Врублевский. «Только один. Остальные не профессионалы. Это единственный шанс». До леса метров двадцать. Лес, там болото, и снова лес. «Но немец?!»

– Святой отец, это последний шанс!

– Не для меня. Делай, как знаешь.

– Генек, прыгай за мной!

Квятковский резким прыжком выдернул себя из колонны. Его огромное тело налетело на немца и сбilo того с ног. Здралевич рванулся в сторону. Он ничего не видел вокруг. Не видел, как тревожно засуетились полицейские, пытаясь сладить с непривычными ещё немецкими карабинами, не видел, как старый ксёндз всем своим грузным телом навалился на немца, и руки его рвали зелёный мундир, подбираясь к тонкой шее подростка, не видел он, как Збышек, размахивая «Вальтером», бежал за ним, точно повторяя все его движения, и полицейский, долго водивший мушку за ним, сплюнув, повернулся к колонне. Слева глухо стучал эркаэм и трещало сразу несколько автоматов. Но всё это было где-то далеко, в другом мире. В его же мире было только одно пружинящее грузное тело, мчавшееся навстречу роце. Вот и оно застыло, как замедленный кадр в кино.

Квятковский прогнулся, тяжело поднял приготовленную к прыжку ногу, и, запрокинувшись набок, упал в пьянящий богульник. Его грубые жёсткие пальцы, впиваясь в отсыревшую, набрякшую за ночь землю, тянулись вперёд, пока не застыли под стволом тихо дрожащей берёзы.

Здралевич бежал всё вперёд. Тело его, повинуюсь какой-то далеко заложенной в подсознании программе самосохранения, бросалось из стороны в сторону, обходило прогнившие пни и ямы, пригибалось под низко нависшими ветвями. И вся эта зелёная, белая, серая масса то сжимала его в своих объятиях, то шарахалась в стороны, кособочилась и опрокидывалась.

И вдруг эта бесконечная толпа молодых берёз, так быстро наступавшая и уходившая от него, упёрлась, придвинулась, замерла.

Он скорее почувствовал, чем понял, что лежит. Нога, провалившись в старый валежник, цепко держала его, будто враг. Но он не испытывал к ней ни ненависти, ни обиды. Всё стало безразличным и пустым. Он поднял голову. В нескольких шагах от него, обхватив берёзу левой рукой, стоял бледный, тяжело дышащий Збышек. Подняв правую руку с вросшим в неё вальтером, он вытирал пот со лба. В глазах его не было злобы.

– На болоте швабы. На тракте – тоже. Обойди правее, – он сплюнул и, повернувшись к Здралевичу спиной, пошатываясь, пошёл в сторону карьера.

Пробираясь по краю рощи, Здралевич услышал, как там, где карьер, хлопнули два пистолетных выстрела и вслед за ними нервно, впопыхах заклокотал автомат. А потом всё умолкло, затихло. Только утренний ветер, как всегда перед восходом солнца, трепал тонкие ветки берёз.

Искупительная жертва

Узкая полоса леса отгораживала деревню от шоссе, связывающего город со станцией. Обычно шоссе было малолюдным, и только в воскресные дни люди из близлежащих сёл съезжались к нему, чтобы потом отправиться в город, к заутренней мессе. Важные гости из Варшавы приезжали в Радзивилловский замок не так часто и оживления в тишину этих мест не вносили. Да и войны до этой поры как-то проходили стороной: наступали и отступали по екатерининскому тракту, лежавшему далеко от Завитой, за лесами. Но эта война была не такой...

На заре Бурдейка проснулся от гулких, отдававшихся эхом в лесу, разрывов и, выйдя на крыльцо, увидел, что там, где была станция, поднимается чёрный шлейф дыма. Через три дня по шоссе прошли тяжёлые танки, потянулись обозы, сворачивая на старую дорогу, названной еврейской Бог весть почему, в какие времена... Эта просёлочная дорога пересекала шоссе, перерезала лес и, минуя деревню, соединялась с другой, идущей на Столбцы.

Обозы всё идут и идут – и нет им ни конца, ни края.

Дом Бурдейки был на пригорке, неподалёку от еврейского

шляка, и он долго стоял в вишняке у забора, смотрел на здоровых бесхвостых бельгийских битюгов, запряженных в армейские повозки, на солдат в серо-зелёных мундирах и тёмных шершавых касках.

Уже в первый день войны деревня насторожилась. А когда приблизился фронт – а он подошёл неожиданно и стремительно, в треске мотоциклов и в шуме машин, каждый стал прятать всё, что имел. Угоняли в лес коров, зарывали зерно, прятали вещи. Спали чутким тревожным сном на сеновалах и в садах, на всякий случай рыли землянки. Не спал и Бурдейка...

– Ну что – «дальневосточная, непобедимая»?!... Прут немцы – сказал ему как-то сосед.

– Сам вижу. Только и раньше так было. Немцы сильны порядком, но это их и губило. Растекутся по просторам России, увязнут в ней, потеряют свой порядок: а без него немец – не немец. Людей только побьют много...

Последние годы Бурдейка больше сидел дома, стараясь не выезжать в город. Он даже в сад выходил только тогда, когда в августовской ночной тишине падали, глухо ударяясь, переспелые яблоки. Бурдейка любил эту пору, пору падающих яблок и звёзд, когда воздух был полон запахов созревания и приближающейся осени. Хозяйство он забросил, переложив все тяготы его на плечи двух дочерей, крепких, по-мужски сбитых девиц, некрасивых и поэтому на людях молчаливых и замкнутых. Покой отца они оберегали как могли и меж-

ду собой по пустякам не ссорились. Порой ему становилось тоскливо из-за их неустроенности, и он звал их к себе, в свою маленькую комнату, заваленную книгами.

– Продадим-ка всё... Купим дом в городе. Вы – девки смышлёные, устройтесь. Ну на что вам далось это хозяйство? Корова, гуси... Пахать, сеять, жать... Коротать холодные зимы в одиночестве... Там вы увидите людей и прочее.

– Надо пережить это время, отец, – говорила старшая. – Да и где ты сейчас купишь дом? Работать на немцев мы не станем, а если ты боишься, что мы останемся без своих принцев, то что ж – на всё Божья воля. Принцев сейчас повыбили. Так что лучше пахать и сеять.

Младшая соглашалась с нею и на этом разговор кончался. Впрочем, отсюда, из Завитой, он не хотел уезжать, и никуда бы не уехал, будь его воля. Вся деревня, состоявшая из одной улицы, протянувшейся на несколько километров вдоль леса, давно уже была его единственной пристанью...

В городе шли облавы, и каждый, кто не служил в полиции и не питал симпатии к немцам, в эти дни старался пореже бывать в городе. Улицы опустели, притихли, и даже в базарный день не скрипели на ней несмазанные колёса крестьянских телег, не грохотали по булыжной, разбитой ещё в июне, мостовой. Если где-то скрипнет калитка или раздаётся топот кованных тяжёлых сапог, в тёмных провалах окон появляются тревожные, серые лица.

....

Уже несколько дней на площади, возле магистрата висел человек. Роста он был небольшого, худой, светло-русый; на нём была светлая, давно нестиранная, с ржавыми пятнами крови, армейская сорочка, зелёные солдатские галифе с обрезанными штрипками. Сбитые босые ноги посинели на пронизывающем ветре. Неподалёку от него, сгорбившись и прижимая к животу винтовку, притоптывая кривыми ногами, ходил чёрный, как ворона, полицейский. Кляня ветер, своё невезенье и немцев, что поставили его здесь, около висевшего, он выписывал небольшие круги, норовя уйти на сторону, где не так зверски продувалась площадь, прикрытая массивными стенами старой каменной ратуши. Но там он не был виден из окон пастерунка, и начальник, не дай господи, если заметит его отсутствие на посту, съездит по морде, да так, что потом ни один дантист не соберёт твою челюсть.

«А где теперь дантисты?», – думал Шулейка. – Был Рабинович, так сам же он, Шулейка, отвёл его в радзивиловский парк. «Другим-то полициям что? Сидят себе в старой лавке Рифтиных и смалят самосад... Хорошая была лавка до войны!»

Когда расстреляли евреев, Шулейка, выждав, через кухонное окошко влез в дом Рифтиных и долго искал по всяким закуткам, хватал и перетаскивал вещи, лазал под печь, забитую старыми дырявыми горшками, рылся в комодах, пропахших нафталином, спускался в погреб и шарил там под гнилой картошкой и за старыми кадушками с перекисшей

капустой.

В тёмном чулане висели всякие колбасы и пахло мылом и сыромятными ремнями.

«Эти Рифтины знали толк в жизни: под лавкой сделали такую пивницу, что сам Бог оттуда бы не выбрался. Ну а что толку? Пришли немцы и выкурили Рифтина из лавки, сделали там пастерунок, а в пивнице, среди хомутов и черессдельников, держали всю семью.

Сейчас туда конопатят всех, кто попадётся – и пьяных, и так просто – у кого неподходящая морда. Вот и этого, что висит, вначале били в пивнице. Тоже скажут – партизан! Это всё начальник, Дылевский, хочет выслужиться перед немцами. Когда ездил на облаву в Сейловичи, где-то в кустах поймал хлопца в военных штанах и чёрной телогрейке, надетой прямо на сорочку. Мало ли кто сейчас ходит в солдатских галифе! Когда грабили большевистские казармы, так и он, Шулейка, хапнул, дай ты Боже, не одну шинельку. Тоже мне – партизан! Если каждого так дубасить – так самим папой римским признается. Говорил, что беженец, что на заработки пришёл, из-под Минска. От голода куда не пойдёшь! А всё Дылевский, перед немцами хочет вылизаться – на, партизана поймал! Повесили хлопца ни за что, ни про что... Оно, правда, партизан много развелось в районе, и для остратки повесить кого-нибудь не помешает!

Дылевский на этом даже какую-то медаль схлопотал. А мне их медаль – как бабе брошка – для форсу только. Вот ес-

ли бы дали хату Канторовича, того, что расстреляли в парке, так это – да, можно было бы жить припеваючи! Сад там что надо, хлев, недавно срубленный, а за хлевом ещё несколько соток огорода. Оно, правда, дом деревянный – не то что Дылевский отхватил, кирпичный, да ещё у самого рынка – но тоже крепкий. Можно кабанчиков завести и лавку со временем открыть... Да, жалко, что не нашёл я того золотишка, что припрятали Рифтины. И куда же они могли его запрятать?»

.....

– Надо уходить в лес, – сказал Адик.

– А старики? Ты подумал о них? – возразил Раф. – Отец не может пойти – ты знаешь это. Кому-то нужно везти его в коляске. Мама не довезёт его до площади. Ты это знаешь. Кто останется с ними, если всех упрячут в гетто? Они погибнут.

– Я люблю их не меньше тебя, Раф. Я готов тащить отца на себе. До леса всего три километра.

– Брось, это безумие!

– Безумие? А идти самому на верную смерть, зная, что есть шанс на спасение – это не безумие? Пусть скажет отец!

– Вы оба правы. Прав тот, кто решился. Никто не знает, что Адик в городе. Пусть он уходит. Раф, ты – старший, и ты останешься с нами. Может быть, всё это не так страшно, и Бог будет милостив к нам.... Осталось два часа до сбора на площади. Мы должны отдохнуть – неизвестно, какой предстоит день. Адик пусть уходит. Возьми с собой одежду, золо-

тые вещи. Это немного. Если сумеешь выжить – поможешь нам.

– Мы все должны быть вместе, отец.

– Нет, это не выйдет. Адик, иди с Богом!

– Как быть с Руфь? Она не решается идти.

– Не знаю. Старый Зусман идёт со всей семьёй на площадь.

– На верную погибель!

– Оставь эти разговоры! Пойдём мы на площадь – или не пойдём – уже не имеет значения. Выходы из города закрыты полицейскими. Но если бы нам удалось пробраться огородами, как это предлагает пан Генек, то всё равно спрятаться негде. В лесу? Это безумие! Я никогда не бывал в лесу – я горожанин. Ровно через несколько дней одичаю и сам выйду, испугавшись самого себя. Нет, я пойду на площадь. Я не верю в то, что нас всех убьют. Это же противно всякому разуму. Ну ладно, нас могут выслать отсюда: стонят в гетто, вывезут в Германию, заставят работать как рабов... Но так было всегда. Всегда над нами висело проклятие...

– Не говори глупости, Раф! Ты прекрасно знаешь, что в других городах большую часть евреев расстреляли.

– Это, может быть, только слухи. Я не могу себе представить, чтобы так уничтожали людей только за одну принадлежность к другой религии.

– Но это так!

– Слухи всё преувеличивают. Страх преувеличивает опас-

ность.

– Я не пойду на площадь. Прав ты или не прав – но у меня нет ни малейшего желания проверять это на собственной шкуре. Я уйду в лес.

– Подумай, что говоришь! Какой может быть лес?! Всё в руках немцев. Все боятся их, никто не подаст куска хлеба нам. Я не хочу, чтоб за мной охотились как за дичью.

– Но это единственная возможность спастись...

.....

Напряжённо вслушиваясь в предутренние шорохи так, что чувствовал, как пульсирует кровь в жилах, Цвирка бочком, вытянув вперёд руку, тихо ступая, направился к забору, где уже давно не было доски, и Верка, его жена, часто лазала к Канторовичихе то за солью, то за спичками, чтобы не делать крюк по улице. Сдерживая дыхание, пугавшее его самого, потому что казалось, что кто-то идёт рядом и дышит за его спиной, он обогнул малинник. Колючая ветка, запутавшись в ногах, цепко впилась в штанину, и он испуганно замер. Где-то вдалеке, там, в центре местечка, у ратуши что-то рокотало и охало. «Ишь ты, какой подняли шум! Видно, всех согноли». Он резко дёрнул зацепившейся ногой, так что ветка взвизгнула как живая. Звякнула цепь, заскрежетала по проволоке. Собака, серая, крупная, стояла перед ним.

– Пошла вон, зараза! – просипел Цвирка, замахнувшись кулаком и та, мотнув головой, так что цепь загремела на весь двор, отскочила в сторону и встала там, кособочась и пово-

рачиваясь то к Цвирке, то ко двору Канторовича.

«Надо торопиться, пока не рассвело. Канторович не придёт, а полицейским и без того хватает работы, чтобы караулить еврейское добро».

Он раздвинул вишняк и, переступив через жердь, пригнувшись, быстро пробежал к дверям небольших дощатых сеней, пристроенных, как и у всех, для того, чтобы зимой морозный воздух не попадал прямо в хату и не заметал снег, когда пуржило.

Замок был старый, ржавый. Цвирка не раз видел его. «Ключ он, наверное, унёс, а не спрятал под колодой, тут же у крыльца». Но нет, ключ был на месте. Видно думал Канторович, что снова вернётся к себе или отпустят кого-то. Ключ был только один, и Цвирка знал это хорошо.

Дрожащими руками он еле-еле вставил его в замок и проржавленная пружина, жалобно скрипнув, отбросила дужку.

Справа в сенях стояли вёдра с водой, кувшины с кислым молоком, прикрытые досочками, а у самых дверей, ведущих на кухню, на стене висел мешочек с творогом. И это знал Цвирка.

На кухне было темно, как в сенях, а в комнаты уже сочилось серое утро.

Сбив стул, он подошёл к шкафу, за которым стояла швейная машинка, дёрнул за ручку, и незакреплённая крышка с грохотом отлетела в сторону. Тогда он схватил машинку за железную шейку и выволок её. Потом пробежал, пригибаясь,

с нею через кухню и сени, по тропинке, мягкой от утоптанной картофельной ботвы, дрожа всем телом, втиснулся в лаз, и, не глядя на вишнёвые ветки, хлеставшие его по лицу, на малинник, цеплявшийся за ноги, побежал туда, где между сараем и поленницей стояли навес и собачья будка.

И снова собака, мотнув головой, отскочила в сторону.

Потом уже он бегал и бегал то в дом Канторовича, то под навес, хватал подушки, одеяла, сковородки, одежду из шкафа. Кряхтя и надрываясь, он с трудом вытянул из чулана кадку с салом. От пота рубашка прилипла к спине. Руки дрожали от натуги, и в груди хрипело и свистело, как у старого школьного сторожа, прогнившего от махорки и самосада.

Кадка никак не пролезала в лаз, и он со всего размаху стукнул каблуком по трухлявой доске забора. Та хрустнула, расщепившись посередине. Он вывернул её руками и отбросил в малинник.

Когда поставил кадку в кустах, во дворе уже было светло, и там, в раздзивилловском парке трещали и бахали пулемёты.

С улицы могли заметить, что Цwirка бежит по двору Канторовича. Нужно было кончать, но остановиться, когда изпод соломы в сарае он достал только один добрый кожух, когда ещё не вынес новый хомут и чересседельник, было не в состоянии.

Кто-то стукнул крючком калитки.

«Ишь ты, вороньё слетается... Наверное, Шулейка, что

живёт напротив».

Цвирка схватил кусок глины и бросил в кусты сирени, что росли у забора с улицы.

Серая фигура низкорослого мужчины шмыгнула на улицу, и калитка с прилаженной пружиной, гулко ударившись о столб дубовых ворот, захлопнулась за ним.

«Шулейка.... Кривоногая свинья. Мало того, что нахапал в большевицких казармах одеял и сапог, так что хватило бы на целую роту, так нет, ещё бы хватал и хватал, холера».

А в парке всё стучал и стучал пулемёт: так –так, так-так-так –дррр, так– так-так....

«А что если вернётся Канторович? Нет, оттуда никто не возвращался...»

В соседнем хлеву замычала корова, хорошая, ещё не старая корова.

«Кому же она достанется?»

Пошарив в кармане, Цвирка достал кожаный мешочек с самосадом. Свернул самокрутку и, прикурив от зажигалки, сделанной из патрона, уселся на тяжёлую колоду. Серая сука, положив морду на вытянутые лапы, внимательно смотрела на него.

– Пошла вон.... Привязалась, зараза.

В парке затихло, и всё сразу будто вымерло. В хлеву Канторовича загремели вёдра, зашуршала солома. Цвирка вздрогнул и прислушался.

«А что если Канторович стоит сейчас где-то рядом, или

по комнатам его бесшумная невидимая душа бродит, бродит и смотрит на раскрытый настежь шкаф, на сундук, до дна выпотрошенный им, его соседом Цвиркой? Хотя он и еврей, но у него должна же быть душа. Нет, Канторовичу всё это уже ненужно, и если б он, Цвирка, не взял, то утянул бы Шулейка или полицаи».

Сколько помнит он себя, столько и Канторовича. Ещё при покойнице матери, когда он был болен, а их корова стельной, старая Канторовичиха приносила им молоко просто так, даром, и руки у неё были маленькие, натруженные, в чёрных прожилках от вьёвшейся грязи.

Только после обеда приехали подводы с полицейскими и стали грузить добро Канторовичей. Крутился здесь и Шулейка. Помогал вытаскивать узлы, шкаф, изъеденный червём.

Через пару дней Шулейка записался в полицию и перешёл жить в дом Канторовичей, оставив свою маленькую подследповатую хату сестре.

Как-то утром Цвирка, выйдя на крыльцо, увидел, что возле лаза стоит Шулейка.

– Чего тебе?

– Ничего. Смотрю, как ты вылупил тут доски, когда таскал барахло Канторовича, – сказал Шулейка и подмигнул ему.

– А ты что, видел, жук косолапый?

– Видел – не видел, а только кроме тебя, твою мать, некому тогда было доски выламывать!

.....

Теперь, почти год спустя, Шулейка стоял перед ним с винтовкой в руках, за кругленьким немцем, и, ослабившись, опять подмигивал ему.

– Ну что, Цвирка, помогли тебе твои поляки?

– Какой я поляк?! Я только католик! Я католик, пресвятая дева Мария, да смилуйся же ты над нами! И деды мои были белорусами, и прадеды. Ну немного, может быть, литовцы... Ну какой же я поляк, если пан бургомистр ещё до войны называл меня «быдло». Раны Иисуса! Умоляю вас, панове, скажите им, что я не поляк, я только католик...

Рядом с Цвиркой стоял Бурдейка.

– И ты тут...

– А что, ты – лучше? – спросил он у него по-белоруски.

– Я думал, только поляков....

– Поляков? Был ты, Цвирка, дурак, дураком и помрёшь. Сейчас убивают всех: евреев, цыган, поляков, русских, белорусов. Стреляют и в живых, и в мёртвых, в детей и баб. Но тебя, видно, взяли они по ошибке... Ты же, сучья морда, айн, цвай, драй – и в полицию пошёл бы!

Это было правдой. Когда немцы объявили, что набирают людей в полицию, он было собрался в магистрат. Чёрный френч, с серым воротником и серыми обшлагами, подпоясан широким ремнём, а португеза поддерживает кобуру с тяжёлым пистолетом.... Чёрные галифе он сшил бы на манер немецких, а сапоги с высокими задниками, сшитые ещё перед войной Биндером, начищенные до блеска, стояли, рас-

пятые колодками, в шкафу, под мантилем. Этот мантиль он купил у полицейского, что живёт на Сверженской, за два литра самогона, осенью, после того, как расстреляли евреев в радзивилловском парке. Мантиль был ещё совсем новенький, неодёванный; видно, кто-то справил ещё перед войной, та так и не воспользовался... Может, даже Биндер... Тогда Цwirка много скупил за бесценно: мягкий плюшевый фатель, толстое шерстяное одеяло... Нет, одеяло он сам принёс.

....

Было ещё темно, когда евреев согнали на площадь. Всю ночь он слышал как гиркал старый Канторович, ходил по двору, стучал засовами от сарая, и долго было слышно, как там шуршала солома. Ещё за несколько дней до этого Цwirка видел, как Канторович что-то закопал у старой яблони, рядом с его забором.

Когда Канторович вывел весь свой выводок и запер за собой калитку, он долго стоял и всматривался в темноту, пока не умолкли последние шаги.

А в то сентябрьское тёмное утро топот смолкал быстро. Евреи торопились к ратуше, к пяти часам, как приказал комендант. И комендант торопился тоже. Торопился к рассвету согнать всех ко рвам, в радзивилловском парке. Цwirка знал об этих рвах. Ещё накануне Харитончик сказал ему, что рано утром идёт в парк, копать яму для евреев.

....

– Что, Цwirка? – сказал Бурдейка. – Отрёкся от своих ко-

гда-то – теперь те, к кому рад был бы примазаться, отреклись от тебя. Выплюнули тебя и те, и другие.... И всё же ты счастливчик, Цвирка: тебя распнут как тех разбойников, вместе с Христом, и за это ты получишь и Господнее, и людское прощение. Принесут люди цветы нам, и тебе, Цвирка, бросят. Вот что обидно. Мне не жаль, что я умру. Старый я гриб, но вот что с тобой рядом умирать и лежать буду – обидно. Господи, вразуми всех нас и не делай искупительной жертвой зла....

Незаросшая.*

«Бог создал мир, но не заботился о нём, как я о сапогах для своих клиентов».

Знакомый моего детства, Биндер.

«Из памяти можно выбросить всё, но зачем выбрасывать боты?»

Пан Рыбарский, тоже знакомый.

На его памяти улица не раз меняла своё название. Она была самой длинной, самой нарядной и соединяла город со станцией, отстоявшей от него в двенадцати километрах, откуда всегда приходила новая власть. По этой улице, поднимая пыль, прокатилась серой лавиной конница Будённого, а затем, мягко гарцуя, прошли уланы пана Пилсудского. Разное время и разные песни. Вот и сейчас он слышит отголоски старых песен – то «Ружи бялы квят», то «Дальневосточная, даёшь отпор». А потом, в мерном кованом грохоте добротных сапог, тревожа раннее утро, бушевала «Лили Марлен».

Когда-то, в годы его детства, улица называлась Виленской, и старые люди, как он, пан Рыбарский, выдавший столько, не дай Бог никому, разных перемен, так и называл её по старой памяти. Человеку однажды дают имя, и он живёт с ним до смерти, а улица? Улица, да ещё центральная, всегда должна быть верноподданной. Смирилась она, значит смирились и люди. А если не приемлет новое, то потихоньку, шёпотом так и носит старое имя.

Давно это было. Так давно, что даже сердце не щемит от воспоминаний. Тогда её звали улицей Маршалка Пилсудского. Пышные, обвисшие усы, волосы, подстриженные ёжиком, под густыми тяжёлыми бровями колючие серые глаза. Опираясь на шашку, он стоял у гроба пана князя Альбрехта в фарном костёле. Старый органист, хороший органист – где уж молодому до него – как он играл!

Нет пана Пилсудского, нет пана органиста, нет и князя Леона.

Говорят, он просился повидать усыпальницу предков и деньги будто послал на побелку замка – может быть, и покрасили бы... А какая красивая была княгиня Ольга!

Давно же это было! Улицу потом называли именем Сталина. Его он не видел. Только вот на портрете. Такие же усы, только чуть поменьше, чем у пана Пилсудского, да брови не вниз свисали, а поднимались кверху. А глаза? Глаза на портрете, как имя улицы, ничего не расскажут.

* Опубликовано в журнале «Памир», 7-12, 1995 г., г. Ду-

шанбе (стр.142-145)

При швабах на ней сменили опять все таблички и написали: «улица Адольфа Гитлера». Глупые люди. Разве можно называть улицы именами живущих?! А именами мёртвых можно? Бог его знает. Вот эта когда-то звалась улицей Юлиуса Словацкого, а потом её переименовали в улицу Максима Горького. Будто Словацкий чем-то кому-то не угодил или был глупее Горького... Что до него, пана Рыбальского, то он ничего не имел против Максима Горького, но разве мало ещё улиц, чтобы эту отнять у Словацкого?

Длинной стала она... Ещё длиннее, чем двадцать– тридцать лет назад. А, может, просто ему, молодому, путь казался короче?

Сел бы на ровер и мигом доставил все письма... А сейчас, может быть, накопил бы на велосипед, да ноги уже не те. Сумка за годы пригнула спину. Что и говорить, жизнь – как вода в воронке: чем ближе к концу, тем быстрее течёт. Ушёл бы на пенсию, не раз предлагали. Но разве уйдёшь от себя, от своих воспоминаний, от тревожного ожидания чужих, но вечно своих писем?

Вот и сейчас пришло письмо издалека. Откуда-то из Австралии. Юзеф Врублевский пишет Геле Врублевской. А где же она? Нет ни дома Гели, ни самой Гели, ни детей её, ни мужа, пана Антония. Всё сгорело в одну ночь. А письма идут и идут....

Никто не ответит далёкому Юзеку, что пани Врублевская,

та пани, что кляла на рынке большевиков, а после прятала молодого политрука в стодоле, погибла – швабы всех их замордовали, всех, даже маленьких шустрых девчат.

А вот и дом старого Биндера. Ах, какие же делал он сапоги для панов улан! Добрый и полезный был человек этот Биндер.

.....

В тот сентябрьский вечер сорок первого года он, пан Рыбарский, от полицейского из охраны почты узнал, что в парке выкопали огромный ров и завтра туда погонят евреев. Поздно ночью, не глядя на комендантский час, он стучался в ставни знакомых домов.

– Пане Биндер, нех пане вийде на хвилечку! То я, пан Рыбарский.

Он всё знал, этот Биндер. Знал, что в Лани согнали евреев вместе с семьями и многих перебили, а часть перегнали сюда, будто в гетто.

– Я бы не советовал пану завтра ийти на площадь. Пусть пан ночью огородами вместе с женой и детьми выйдет из города. А там, может быть, всё встанет на своё место.

– А, может, всё-таки загонят в гетто? Я же знаю, что в Слониме и Молодечно так уже сделали. Не станут же они стрелять маленьких детей! Что им сделал бедный еврей? И немцам нужны боты. Кто же будет делать боты для панов офицеров, если они убьют Биндера? Не такие же дураки эти немцы, чтобы не любить приличные боты.

– На что им ваши боты, пане Биндер? Они сдерут эти боты с кого угодно! Я же знаю этих швабов. Вот, к примеру, мой сосед Ланге... Так он целый воз привёз этих бот, когда расстреляли бедных большевиков, что поймали в Мещанском лесу. Нет у пана разуменья, але ж то панске дело и як себе пан жичи.

Всё можно выбросить из головы – только не память. И зачем это Биндер не захотел уйти огородами? Вот и сейчас он вышел бы из своей, пропахшей кожей, гуталином и ещё черт знает чем, каморки и сказал бы: «Пусть я медленно делаю сапоги, медленнее, чем пан Бог делал этот мир, но посмотрите на этот мир и на эти сапоги, пан Рыбарский!»

Утром, как и сегодня в это сентябрьское утро, шёл мелкий вьедливый дождь. Пан Рыбарский стоял у ворот почты с большой сумкой, полной писем к тем, кто уже никогда не прочтёт их и не узнает, что где-то в Лиде и Снове жёлтая листва уже закрыла длинные свежие рвы...

По улице Виленской – Маршалка Пилсудского – Сталина – Гитлера шли тихие понурые евреи. Шли старики и дети, здоровые женихи и задастые невесты. Вот прошёл дантист со своей женой Микой, а за ними директор школы Цыханский. Теперь уж дантист не будет ревновать к нему свою Мику. Эх, пане Биндер, пане Биндер! Не послушался ты, пане, доброго совета.

Встретился он с ним глазами, и такая в них кричала тоска, что и сейчас, много лет спустя, гложет сердце. Впереди

колонны шли два полицаая из литовцев и щупленький немец с губной гармошкой и автоматом. Немного дальше, по бокам – по одному немцу. И двое в конце.

В тот день долго стреляли в парке, и в напряжённое молчание города по временам врывалось глубокое «о-ох!» А, может быть, то ветер стонал?

Ночью подводы, груженные одеждой убитых, сбились у ратуши. Говорят, что туда привезли полторы тысячи бот, туфель, сандалий, пинеток. Были там, наверное, и те боты, которые так хорошо мастерил Биндер.

Ещё на второй день в парке у старого тополя шевелилась земля. Огромный тополь зачах на много лет и только недавно пустил побеги и зашумел седой листвой. Тяжело отходил, так же как и люди. Сразу же после войны кто-то прибил к нему дощечку с еврейской и русской надписями. Ров-могилу, как тумором, окружили массивными цепями. А потом доска исчезла, цепи сняли, и стали люди ходить по заросшему рву, рвать одуванчики в сочной траве.

Только пан Рыбарский не ходил по этому заросшему рву, может, потому, что шёл он и через его сердце, а, может быть из-за тех биндеровых бот, которые ему так и не удалось сносить за долгую жизнь.

1953-1955

Корова.

Чёрной шторой затянула ночь всё земное, и тёмные глыбы хуторов застыли в тревожной дрёме. Медленно плетётся

уснувшая лошадь, а мы настороженно смотрим в холодные чёрные провалы и напряжённо опасливо ждём. Нас пугают шорохи ночи, стремительный полёт упавшей звезды, трассирующей пулей уходящей в бездну, наше дыхание, наши мысли. Когда думаешь – ты всегда одинок. А ночью одиноки все, даже тогда, когда рядом кто-то дышит.

Сзади, в трёх шагах от розвальней, грузно ступая, идёт привязанная корова. Я не вижу её, только слышу. Дышит тяжело. Вздыхает. Корова понимает, куда и зачем её взяли.

Не хотелось мне сегодня идти в деревню. Не хотелось, потому что всегда чужой кусок в горле застревает, как телега со вздыбленной оглоблей.

– Ты что-то сказал, Роман?

– Нет. Повернулся только – зад отсидел.

– Покурить бы...

– Хорошо бы... – говорит Иван. Он сидит впереди нас.

Я знаю, что у Ивана кошки на душе скребут из-за этой коровы. Иван из соседней деревни, и уж кому-кому, а ему-то понятно, что значит корова. Дома у него остались две льняные головки, и каждому из нас известно, что у этих девочек молоко давно просохло на губах...

– Больше никогда не поеду. Пусть Саболенка сам ездит, коль хочет.

Саболенка – наш командир. До войны дорожным мастером был, а сейчас командует нами. Человек он крутой – в сердцах и по морде может съездить. Правда, потом отой-

дёт, злобы не держит. Хорошо, что комиссара прислали. Тот, чуть что, сразу его, как Фурманов, увещевает. А тому, конечно, нравится быть Чапаем... Пошумит, пофырчит, помажугается, а потом с комиссаром вместе и самогону выпить может.

И зачем нам эта корова? Могли бы обойтись без неё пока. Иван чуть не плакал, когда нас позвали к Саболенке.

– У кого же брать будем?

– Возьмёшь у Подоматьки. У него ничего не брали.

– Да побойся ты Бога – у него же дети!

– А мы что будем есть? Медведя? Или, думаешь, свиную тушёнку на парашютах сбросят? Разевай рот шире!

Правда, однажды было так, что сбросили мешок тушёнки. Это было уже в конце 44-ого. Только тушёнка та не нам, а соседнему отряду предназначалась. У них свой рация, да и несколько человек с Большой Земли – не то что у нас, где все их этих мест. Ну и ладно. Тушёнку все равно полицаи съели. И соседей перебили.

– В общем, собирайся. Возьмёшь Романа и Здралевича. Больше послать некого.

И вправду некого: пятеро подрывников ушли на дорогу, четырнадцать откомандированы в другой отряд, для подкрепления. Остались только мы, да старый дед-кашевар и тётка Мария.

– Ладно, пойду. Только у Подоматьки брать не буду.

– А у кого возьмёшь? В общем, чтоб корову привёл! И

точка.

Легко сказать – «привёл»! А где её взять? Что у Подомать-ки, что у другого – всё равно как ржавый гвоздь в пятке.

К сараю подошли вдвоём с Иваном. Роман стоял у хаты, чтоб хозяину помешать, если выбежит. Роману-то что! Он из собственного дома всё вынесет, если скажут, и будет ещё при этом жёлтые зубы скалить, как лошадь.

Сарай закрыт огромным замком. Не такой дурак Подоматька, чтоб двери незапертыми оставлять.

– Чёрт возьми... Этот замок не так легко выломать. Шум поднимешь Дай сюда ломик!

Иван подсунул ломик под замок и потянул на себя двумя руками.

– Не выходит! Никогда не грабил. Руки дрожат, как у вора. На, попробуй ты!

Я берусь за обжигающий на морозе ломик и наваливаюсь на него всем телом. Надо скорей кончать, а то, если думать, совсем тошно на душе будет.

– Давай вдвоём!

Мы с Иваном наваливаемся вместе и тянем изо всей силы стальной ломик, который гнётся. Что-то там, за дверью хрустнуло, закрипело и легко поползло из дубовой доски. Замок, глухо лязгнув, повисает.

Двери открылись со стоном.

– Осторожней! Посвети фонариком. Вот туда, правее. Луч карманного фонаря выхватил из темноты тощие бока и оста-

новился на удивлённой коровьей морде. Она то, не мигая, смотрит на фонарь, то жмурит огромные, недоумённые и испуганные глаза.

– Не мешкай, Генек! Давай, поднимай её.

Корова тихо замычала. Я пнул её ногой и почувствовал, как задрожала её шкура.

– Да поторапливайся ты! Накинь на рога верёвку!

Я попытался накинуть петлю, но корова резко метнулась в сторону.

– Чтоб ты сдохла, холера!

– Растяпа! Свети на неё. Дай верёвку.

Иван быстрым движением набросил верёвку на рога и потянул её.

– Упёрлась, зараза! – Свободным концом верёвки он стегнул корову по крупу и та снова задрожала.

– Совсем как человека с постели поднимаешь....

– Ну-ну, ты, давай подсоби лучше.

До улицы всё обошлось спокойно. Корову привязали к розвальням, и Иван, усевшись спереди, звонко хлестнул застоявшуюся лошадь длинными вожжами.

– Подгоняй сзади. Надо скорей отъехать, пока Подоматька не спохватился.

– А Роман?

– Догонит. И так застоялся жеребец.

Роман и вправду догнал нас через полверсты. Мы при- остановили лошадь у старой берёзы. Иван, матерясь и кляня

весь свет, во главе которого, по нашему мнению, стоял всегда Саболенка, стал сворачивать цыгарку.

– Ты что, сдурел? За версту увидят! До леса доберёмся – там и закуришь.

– А я только цыгарку свернуть, чтоб потом не делать.

Тут и подошёл Роман.

– Что ж вы, заразы, не обождали? – сказал он мне, потому что Ивана боялся. – Еле догнал по снегу.

– Как там, не проснулся хозяин?

– Порядочек. Тишина как на кладбище.

– Это уж точно. А вот когда проснутся, ну и слёз же будет! Чтоб ты сдохла, окаянная! – Иван пнул сапогом корову.

– Она-то причём?

– Причём-причём! Вот сам бы остался с детьми без коровы – что бы ты делал? Хлеба-то у Подоматьки до весны не хватит... То и спасение было, что корову держал. Весной ведь и пахал на ней... Что он тебе – куркуль какой? Жеребец ты невыезженный!

– Ну-ну, чего ты кипятишься? Я тебя, что ли, заставлял? А сам что ел бы? Подоматька как-нибудь выкрутится, а после войны государство ему отдаст.

– Отдаст! Держи карман шире. Где ж это государство возьмёт столько коров? Что оно их, на инкубаторе разведёт? Бестолковый ты, Роман! Только и есть, что одна рожа да сапоги новые. Может, государство и сапоги отдаст мёртвому Кондрату?

– Так ему же всё равно, а мне они к делу....

– К делу... Ладно, садись. До света нужно до леса дотянуть.

И вот мы едем в розвальнях к лесу и молчим. Молчим, потому что боимся этой дороги, боимся темноты и падающих звёзд, боимся этой чёртовой коровы, идущей, как совесть, за нами.

– Интересно, а что сейчас там? – говорю я просто так, чтоб отогнать страх ночи.

– Где – там? В Сейловичах?

– Нет, на звёздах.

– Не имел я хлопот! Наверное, тоже война. Все горит и горит, не затухая...

В лесу спокойней. Полицейские редко делают засады в нём. Да и сейчас, в начале 44-ого, они всё больше сбиваются в кучи по крупным сёлам, как и мы когда-то, затравленные ими, в лесу искали своих. Сейчас не мы, а они – вроде дичи.

Небо начинает светлеть. Из чёрной сосновой стены медленно выползают серые пятна, сереет дорога, и я уже отчётливо вижу склонённую коровью морду. Скоро дорога свернёт направо, заплетает между бором и перелесками, пока не упрётся у болота в одинокую сторожку лесника. Там мы оставим лошадь, а сами через болото пойдём к нашим землянкам. Мы своё дело закончили и, глядишь, к вечеру будем есть наваристый борщ, не думая о Подоматькиных детях. В конце концов, война. Мы не виноваты в том, что сегодня у

кого-то отняли сиську.

– Стой! Кто идёт?

Нас как ветром сдуло.

– Стой! Буду стрелять! – кричит сиплый голос из серо-грязной тьмы.

– Свои. От Саболенки, – отвечает ему Иван.

Чужих здесь не могло быть. Видно, кто-то из соседей.

– Бросай оружие и выходи на дорогу!

– Это Кранцевич из Шестопаловского, – говорит Роман и выходит. – Эй, Кранцевич! Это я, Роман. Чего пугаешь?

Мы все выходим на дорожку. Первым подходит Кранцевич.

– Чего это вы к нам заехали?

– Как это – к вам? – спрашивает Иван.

Теперь я вижу, что не та дорожка. Значит, кобыла свернула не там, где надо. Кобыла-то шестопаловская – на «Дегтярёва» выменяли у них. Вот и пошла по знакомой дороге.

– Как же это я обмишулился? Ладно, ребята, будьте здоровы. А мы, значит, повернём оглобли. Давай только перекурим. Всю ночь без курева.

Закурили.

– Что же, корову добыли? – спрашивает Кранцевич.

– Ну да, пропади она пропадом. Мне легче поезд было бы увести, чем эту корову. У вас тут тихо?

– А что здесь может быть? Сидим себе. Вчера вот тоже корову привели... Смотри, сам Батя идёт!

Батя – это их командир. Их, «батей», сейчас полным полно. Иногда и мы так Саболенку называем, хотя ему только-только за сорок перевалило.

– Чьи хлопцы?

– Саболенки.

– Корову, что ли, прихватили?

– Корову.

– Где же это?

– В Сейловичах.

– А чего это не в своём районе?

– Как это – не в «своём»?

– Сейловичами мы занимаемся.

– Ну и занимайтесь... Нам-то что? – говорит Иван. Беседа явно не по сердцу ему. – Не немцев же ваших мы там взяли, а только корову.

– Ну, вот что. Во всём должен быть порядок. Отвязывай корову!

Батя, говорят, дважды повторять не любит.

– А что я скажу Саболенке? – чуть не кричит Иван. Роман тоже сбоку мнётся и какие-то знаки мне подаёт.

– Вы, товарищ командир, – говорю я, – войдите в наше положение. Мы же не сами по себе – делаем то, что нам приказали. А без коровы возвращаться нам нельзя.

– Утри сопли. Отвязывай корову – и весь тут разговор! А Саболенке скажешь, чтоб впредь не шастал по чужому району. Кранцевич, отвяжи корову.

Кранцевич подошёл к розвальням и только нацелился немецким штыком верёвку резать, как вдруг Иван всем туловищем налетел на него:

– Ты что же это?! Твоя корова? Ты её из сарая вывел? Не дам – и всё. Вызывай Саболенку.

– А что мне твой Саболенка? Корову-то взяли из нашего района!

– А ты, что, заплатил Подоматьке за неё, что право на неё имеешь?

– Ты у меня поговори! А то хлопцам скажу – таких палок всыплют, что вода в задку закипит!

– Ну-ну! – Иван потянулся к автомату. – Мне, что ли, нужна эта корова? Я, может быть, её из сарая как из собственного сердца выдрал... А ты мне – «отдай!» Нет такого указа, чтобы ты всем имуществом своего района распоряжался. Вот так!

– Отвяжи подобру, – говорит снова Батя. – Мне она тоже не нужна. Но должен быть во всём порядок.

– Вот что. Если хочешь, я снова отведу её к Подоматьке. Извинюсь даже перед ним. А вам не отдам, и всё тут!

– Отвяжи подобру.

– И не подумаю. Нет такого закона! Генек, поворачивай кобылу.

– Ладно, вызовем Саболенку. С тобой я спорить не буду. Мотай отсюда! – Батя стоит в кожаном полушубке, засунув руки глубоко в карманы. Кубанка сдвинута набок, а глаз его

не видно, потому что небо ещё не прояснилось.

Я прикурил от цыгарки Кранцевича, а Иван, повесив на плечо автомат, повернулся и погладил корову.

– А я-то думал, что ты чёрная.... Садитесь, хлопцы.

Вскинул он вожжи и только ногу занёс на сани, как сзади хлопнул выстрел.

Иван повернулся лицом к Бате.

– Это как же так?! – и тихо обмяк прямо в сани.

.....

По белой непрямой дорожке мы петляем через заснеженные перелески. Роман то и дело трёт огромным заскорузлым кулаком глаза, а я гляжу на носки изодранных ивановых сапог, за которыми тянется обрезанный кусок длинной пеньковой верёвки....

Предчувствие.*

Нас было пятеро. Я говорил тебе об этом. Мы хорошо знали друг друга, и каждый мог бы сделать многое для другого. Просто без этого тогда нельзя было жить. Сейчас каждый старается быть сам по себе. Маленьким независимым государством. Война же

* Опубликовано в журнале «Памир», 7-12, 1995 г., г.Душанбе (стр.149-157)

сбивала людей вместе. Так было легче выстоять, так было проще умереть. Словом, война сбивала нас в эту кучу, подчиняя законам своим и своим правилам.

Каждый из нас думал по-разному, но всякий раз, когда

нависала над нами угроза, в нас появлялся общий инстинкт – у нас появлялись общие движения, как в хорошо слаженном механизме. Мы были одной душой. Если у одного портилось настроение, то портилось оно у всех. Если кто-то смеялся, смеялись все.

Теперь трое из нас уходили.

Лёжа на мокром от росы клевере, я видел их чёрные силуэты на склоне холма. Я узнал бы их среди сотни подобных силуэтов.

Цыган шёл первым. Он всегда шёл первым потому, что только он имел какое-то тайное видение опасности. Только он в полном мраке бурелома мог отличить человека от прогнившей колоды. Он безошибочно узнавал дорогу, по которой хоть один раз прошёл. Его всегда выносили ноги. Я часто видел, как на маршах он шёл с закрытыми глазами. Он спал, а ноги его обходили ямы, бесшумно ступали по сухим веткам еле приметной тропинки. Его ещё звали Леший.

К нам он пришёл в 1945 году из Белостока, после разгрома Армии Крайовой. Я сидел за столом и пил липовый чай.

– Лейтенант Здралевич?

Передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина в длинной кавалерийской шинели. Смуглый, с жёсткими чертами лица, он выжидая, смотрел на меня.

– Да, – сказал я. Отставил чай и начал наматывать портянку. – Холерные сапоги. Вдрызг стёр ноги. Садись. Ты кто?

– Подхорунжий Лисовский. Вышел из Беловежской Пу-

щи.

– Из Армии Крайовой? Что ж так?

– Нет смысла...

– В чём?

– Убивать своих не мог, а оставаться там – убьют самого.

Вот и решил выбраться сюда. Я их этих мест. До сорок четвёртого был в Виленской бригаде. Потом всё пошло прахом.

– Что хочешь делать?

– Осяду в Квачах. Там мать и сёстры. Крови на мне нет, но участвовал под Белостоком в нескольких операциях по разгрому отделов милиции.

– Ладно, разберёмся. Оружие есть?

– «Вис».

Он вытащил пистолет и положил на стол.

– Ладно, иди. Смотри, здесь тоже нелегко. Вчера убили председателя совета. Сорок лет. Осталось пятеро детей. И так каждую неделю.

– Вы тоже убиваете....

– Мы наводим порядок.

– Какой?

– Чтобы не убивали. Люди измучены войной. Вши, боши, банды сожрали деревню.

– А вы что, даёте ей хлеб?

– Нет, мы тоже берём. Но иначе подохнут с голоду все. Мы берём немного, то, что положено государству.

– Какому?

– Не валяй дурака! Сам знаешь. Другого не будет. Заруби это себе на носу.

– Ты же поляк!

– Поляк, когда убивают поляков, жмудин и белорус, когда их убивают, еврей, когда над трупами шевелятся рвы... Ты это видел?

– Видел.

– Поляк! Да здесь нет ни одного человека, чтоб в нём не смешались десятки кровей. Чистой кровью может гордиться только хозяин скаковой лошади, только там это имеет смысл. Ты сам-то чёрный, как цыган.

– Это правда. В деревне нас так и звали – цыганами.

– Ну вот видишь. Ладно, иди. Только не берись за старое. Это не пройдёт. Доложишься в милиции. Не всё так просто.... Доверия не ищи, оно – как дорога в лесу. «Вис» не отдам. Обходись головой.

.....

Пришёл он дней через пятнадцать. Нам было очень трудно. Рыжий мордовал советских работников, гибли бывшие партизаны... Я гонялся за ним, петляя из деревни в деревню, устраивал засады, а он уходил, как вода, пролитая на песок.

– Отдай «вис».

– Зачем?

– Буду искать его вместе с вами.

Он, единственный, видел Рыжего. Два дня назад, возвращаясь из города вместе с Голяком, они напоролись на засаду.

Голяк, председатель совета, прошедший всю войну в партизанах, приходился ему дядей. Я хорошо знал Голяка и не боялся за Цыгана. Он был в цепких руках.

.....

– Говори...

– Что говорить?! Ехали поздно. Сдали хлеб. Деревенские проскочили раньше. А, может, кто их них навёл. Только всё это может быть по разному... Я хотел свернуть в поле, но Николай заспорил. Через лес было короче. Всё равно, обе дороги сходились у рощи, и обе привели бы к этому... Светало, и мы оба дремали. Кобыла сама знала дорогу. Только у самой рощи заржала и метнулась в сторону.

Их было двенадцать. У всех пэпэша, пистолеты, гранаты... За поворотом стояли три дрожки.

– Ну что, Голяк, сдал хлеб государству? Много от советов серебрянников получил за свою работу?

Тот, что говорил, был одного роста со мной. В кожаной тужурке, кубанке, сапоги польские, довоенного покроя.

– А это кто? – ткнул в меня пальцем.

– Лисовский из Крайовой. Удрал из Польши.

– Свой, а связался с этим гувняжем... Вы, поляки, никогда не умеете выбирать себе компанию. Одним словом, повесить обоих.

Голяк всё время молчал. Только багровая складка над бровями да капельки пота над верхней губой говорили о том, каких сил ему это стоило. В какую-то минуту он дрогнул и

бросился в сторону.

Рыжий вскинул автомат, и Голяк упал на дорогу, зарываясь в пыль. Потом он развернулся, тоскливо посмотрел на Рыжего, а тот выстрелил ему в живот. Потом ещё.

– Это вам не Армия Крайова, поляки! Тебя я не трону. Но если скурвишься с большевиками, найду на дне преисподней.

Они уселись на дрожки и укатили в лес. А я поднял обмякшего Николая и уложил в телегу.... Отдай «вис», лейтенант.

– Ладно, пойдёшь со мной.

.....

С тех пор мы, пятеро, гонялись за Рыжим. У него было пятнадцать человек, но я знал, что они редко собираются вместе. Им всё трудней было собираться вместе. А я хотел взять их порознь.

Прошла зима, весна, наступило лето, а мы всё шли по запутанным следам Рыжего. У него осталось только семеро. Раненный в одной из стычек, он отлёживался где-то на хуторах. Говорили, что он ушёл в другие места, но я этому не верил.

В конце концов, у меня были и другие заботы. Зимой в районе объявился какой-то Баран. На возках, с бубенцами въезжал в деревни, грабил магазины, пил самогон. В городе, под носом у милиции, обчистил продовольственный склад и скрылся в ночной пурге, как дорога.

К Цыгану я привык за это время. Полгода скитаний сдружили нас.

И теперь мне тяжело было видеть, как он уходит с другими....

По тёмному холму шли три тени. Они уходили в город, и я не мог остановить их, потому что трудно остановить людей, бегущих от смерти. А они видели и ждали её.

Начал всё Лисек. Прозвали его так за то, что он лучше всех мог найти и пищу, и ночлег. Ещё и за то, что боялся собак. Хитрый и смелый, он часто создавал то настроение в группе, которое никакими мерами не вышибешь. Особенно умел он повернуть ситуацию в ту сторону, какую ему хотелось. Захочет вернуться в город – придумает сотни доводов, и мы плетёмся по грязи, по жаре за двадцать вёрст только для того, чтобы Лисек скрылся в ближайшей подворотне, под лай всех собак квартала. Поутру он возвращался, хорошо выбритый, чистый, пахнувший периной и женщиной... А мы смотрели на него, лёжа на холодных кожаных диванах, и нам было стыдно за наши грязные портянки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.